



№ 2 (5)
2020

Традиции
& АВАНГАРД

Литературно-художественный журнал
Традиции &
Авангард № 2 (5) 2020
Серия «Журнал «Традиции
& Авангард»», книга 5

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63072718

*Традиции & Авангард:
ISBN 978-5-907350-43-4*

Аннотация

В новом выпуске журнала «Традиции и авангард» номер 2 (5) за 2020 год вы встретитесь и с хорошо знакомыми вам по нашим публикациям авторами, и с дебютантами.

Верность лучшим традициям отечественной литературы и новый взгляд на привычные истины вы найдете в повестях и рассказах Асии Арслановой, Мариям Кабашиловой, Фарида Нагима, Натальи Ахпашевой, Канты Ибрагимов, Юлии Кокошко, Рамиля Халикова, Лидии Иргит и Андрея Игнатьева.

Несомненно, заинтересуют вас своей необычной формой драматические произведения Альбины Гумеровой и Керена Климовски.

Острые проблемы и неожиданные ракурсы найдете вы в публицистических очерках и критических статьях Леты Югай,

Марии Бекк, Романа Сенчина, Альберта Кувезина, Рината Бекметова и Булата Ханова.

Содержание

Проза, поэзия	7
Асия Арсланова	7
Невеста	8
Мариям Кабашилова	20
Надвинь на брови северные сны...	21
«Это память твоя говорит спросонок...»	22
«Ускоряется август: брусника, ирга, ежевика...»	22
«Ни слову быстрому, ни воробью...»	23
«Как такое с тобой могло случиться —...»	24
«Был мне раньше пречистый пруд...»	25
«Взвали на плечи грузное вчера...»	26
«Если ты спросишь о том, что я знаю о феврале —...»	26
«Надвинь на брови северные сны...»	27
«Нет теперь никого вокруг...»	28
«Взаперти от болезней-невзгод...»	28
«И вот на целом свете никому...»	29
Фарид Нагим	30
Все есть, и никого нет	31
Наталья Ахпашева	73
В этом городе двери железные...	74
Незнакомка	75

«В этом городе двери железные...»	76
«На нижней шконке спят...»	77
«Сквозь ветви нежно влажный воздух мреет...»	78
В некой далекой стране	79
Петр	81
Канта Ибрагимов	83
Детский мир	84
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Традиции & Авангард

© Интернациональный Союз писателей, 2020

Проза, поэзия

Асия Арсланова



Асия Арсланова живет в Уфе. Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета.

Работала в журналистике, сейчас – в маркетинге. За последние два года прошла несколько курсов в Creative Writing School: «Как писать прозу: теория и практика» (базовый курс), «Проза для продолжающих», «Язык и стиль» Марины Степновой. Написанные в рамках курсов рассказы входили в списки лучших и публиковались в коллективных сборниках.

Невеста

Рассказ

1

Грех такое говорить, Хайдар, но не любила я свою племянницу Гульбадиян. За прялку вовек не усадишь, а конину и напеченный матерью хлеб лопают, что твои перегонщики скота.

Я в ее годы в сторону маминых запасов и не смотрела, а Гульбадиян то заправленный маслом красный творог выпросит, то от листа пастилы широкую ленту оторвет.

Мать и рада. Как же, последний балованный ребенок. С малолетства в шелковых, расшитых бисером елянах щеголяет. Спит на мягких ястыках. Два дела у нее – лакомиться и слушать сказки.

Кто же знал, что именно мне придется утешать Гульбадиян в тяжелый час! Айбика-апай, правда, по-другому сказала:

– Танхылу, наставь эту девчонку на ум. Только ты и можешь помочь.

– Как же, – говорю, – сестра?

– Расскажи ей, каково это – так и не пойти замуж.

Я в тот час выкладывала сыр корот на просушку, а сестра стояла подле, нависала горой. Ох, Хайдар, ты же не знаешь, какой стала наша Айбика за тридцать с лишним кочевий. Из самой красивой девушки в роду с кожей нежной, как сметана каймак, со станом тонким, как дерево калина, обратилась в широкую мать-медведицу. И характер под стать! Коль что нужно ее детям, будет грызть, рычать и биться. Я же, весь век прожив при них с Иргали-эзне приживалкой, и вовсе не смею ей ни в чем отказать. Но как вести разговор с капризной племянницей о самом непростом в своей судьбе? О том, что и себе объяснить не могу?

Робко смотрю на старшую сестру, а она вдруг оседает рядом:

– Ай, Танхылу-хенле, не хочет она идти замуж за Гая- за. Все льет слезы по своему Гайсе. Твержу ей: из века в век наши бабки, погибни жених на охоте или в бою, шли в жены к их братьям, рожали им сыновей, проживали большую достойную жизнь. Калым-то от семьи жениха давно уплачен. Люди добрые. Ее знают и любят. Гаяз холост: не второй, не третьей женой ее берет. Нет, говорит, не желаю, останусь невестой Гайсы, не надо мне никого. А твой Иргали-эзне тоже уперся: не хочет возвращать полученных коней и овец, да

еще и с приплодом. И я между ними как между двух огней.

Я глаз больше не поднимаю, смотрю на аккуратные шарики корота.

– Но не зря вся округа твердит о моей смекалке, – продолжает Айбика-апай. – Поняла я: нужно разъяснить Гульбадиян, что ее ждет, останься она в девках. А кто тут лучше справится, чем ты? Ведь непросто тебе пришлось? Подтирать носы сестриным детям и так и не понянчить своих? Валять узорные войлоки, да не себе в приданое?..

Молчу.

– Поговоришь с Гульбадиян? – голос сестры звучит чудно. К привычному тону байской жены добавляется толика просительности.

Киваю.

Поговорить не значит убедить, Хайдар.

2

Беру мешочек, иду собирать лещину – зимой кстати придется. Не могу оставаться среди темных юрт осенней стоянки Иргали-езне. Остаться среди людей. Вдыхаю запах вымоченной дождями земли, прислушиваюсь к шепоту лещих-шурале. Думаю о женихе нашей Гульбадиян. Что я помнила о нем?

Был тремя днями старше своей невесты. Оба родились в середине лета, такого же засушливого, истомившего жаром,

как и в этом году. На сороковой невестин день их положили в одну колыбель – пообещали друг другу. Сколько бешбармака мы в тот день наварили – угощали чуть не всю даругу.

Гайса вырос одним из первых танцоров и кураистов среди егетов. Ни разу не появился на моих глазах один-одинешенек, всегда в окружении дружков и обожавшей его малышни. Замолкал, кажется, только при отце и будущем тесте. Но и при них с трудом прятал бедовый блеск своих крупных темных глаз.

Видались они с Гульбадиян на свадьбах, йыйынах и посиделках. В кыз-куу племянница не участвовала. Не хватало еще взбираться на лошадь, мчаться куда-то, потеть. Вместо этого плыла, закутанная в красный кушъяулык, звенела хакалом, слушала сэсэнов. И Гайса тут как тут, гордится нарядной невестой. Не оттого ли Гульбадиян была так размеренна, не стеснялась отставать от сверстниц в работе, не боялась преждевременно растолстеть, что у нее всегда, сколько себя помнила, был веселый богатый жених?

Ой как я разозлилась, когда учила ее валять войлок, а она мне: «У того, кто не знает, как взяться за дело, и руки лишний раз болеть не будут, тетушка». Не робеет, смотрит с лукавством, не нужно ей быть более расторопной, чем другие девушки. Да что я? Не нужно было еще год назад.

Думали мы: от истока Ика до истока Ая нет счастливее девушки, чем Гульбадиян. А потом по рыхлому снегу в небывалую для местных зим оттепель приехал Гайса – прощать-

ся. Белый царь позвал башкир не просто на порубежье – к этому они были привычны. На этот раз наши раскосые крепкие парни, дети степных войн, лучшие лучники и мастера джигитовки, должны были отправиться за пределы страны.

Потом мы узнали, что им достался только один бой, первый бой башкирской конницы с французским войском, сразу после был объявлен мир. Но царь еще и похвастал своими башкирцами перед прежним врагом – императором! Наши егеты показали ему, как они метки: на скаку целились в брошенную на землю шапку и превратили ее в ежа, оцетинившегося иглами стрел. Но среди тех ловких егетов уже не было Гайсы. Полковой мулла после их единственного боя прочел над ним суру «Ясин».

Трясу лещину. Я немолода, но еще могу тянуться к высоким веткам. Думаю о своем женихе – о тебе, Хайдар. Помнишь ли ты, когда мы впервые увидались?

– Кызым, ну-ка спрячься! – сурово велела мама, вернувшись с мужской половины юрты. – Нехорошо девушке показываться из-за шаршау!

– Но ведь гости, гости, мама! – не могу сдержать радости. – Всю летовку ни одного нового лица не видали, а тут сразу столько! Кто тот хитрый дядька в бархатном еляне? А черноусый егет с ним?..

– Черноусый егет! И как углядела! Не оберешься стыда с тобой! Давай лучше взбивай кислый катык с водой – подадим гостям айран. Достаточно ли у нас ключевой воды?.. –

Так я еще с утра натаскала! – берусь за кадки, привычно войдя в роль завидной, рукастой девушки на выданье. Но стоит маме скрыться с женской половины (понесла гостям разваренную жирную баранину), как я уже у шаршау, высовываю свой нос. На пожилых, важно рассуждающих о чем-то мужчин смотреть неинтересно, а вот парнишка кажется немногим старше меня. Держится почтительно, глаза долу... Ха! Все-таки сквозь густые ресницы поглядывает вокруг. Я сразу это поняла – сама так всегда делала, когда оказывалась среди старших. И тут ты посмотрел на меня! Сердце ухнуло, я на миг замерла, не в силах отвести взгляд, а потом задержала шаршау. Каков!

Бросилась взбивать катык с ледяной водой, щеки горели, понимала: ох, накажет меня Аллах за такое бесстыдство, но терпеть не было мочи.

– Оласай! А оласай! И ты мне не расскажешь, кто к папе приехал? – обращаюсь к бабушке, которая тут же прядет верблюжью шерсть.

– Ох, цыпленочек мой, – бабушка была ласкова. – Знаю, к чему ты клонишь, но про гостей этих и про черноусого егета и думать забудь. Никогда отец не отдаст тебя за него. И не в том беда, что он Шавкат-баю не сын, а воспитанник. Бай богат, тысяча коней в его табунах ходит, калыма не пожалеет. Но парнишка тот – Хайдар Хамзин, сын Хамзы, что воевал с муллой Габдуллой против солдат русской царицы. Хамза погиб, братья его бежали в казахские степи, но, говорят, и их

обстреляли урусы. Сына взял на воспитание побратим Хамзы – Шавкат-бай.

– Так в чем беда, если он ему как сын и коней у них без счету?

– Так этот егет в свой черед тоже возьмет в руки меч. Может, прямо сейчас с твоим отцом о том толкует.

Я была не глупа. Я слыхала песни сэсэнов и разговоры взрослых. Знала, что русские заживо жгли бунтовавших башкир, запретили сходы-йыйыны и растили нам ясак. Конечно, если в тебе достало мужества, ты должен был взять в руки меч. Конечно, думать о тебе было нельзя. Зачем готовиться во вдовы, еще не став женой? Но сердце стучало, сулпы звенели, айран пузырился твоим именем – Хайдар.

Тридцать с лишним кочевий назад я думала: от истока Ика до истока Ая нет девушки счастливее меня. Доброта моего отца оказалась больше его страхов. Когда явились сваты от Шавкат-бая, меня пообещали тебе в жены. Лишь одно условие выставил атай: провести никах не раньше, чем государь Петр Федорович окажется на троне и никто не сможет отнять у башкир наши земли, веру и закон. Шавкат-бай сперва прищурился, потом кивнул. Отцы и дядья толковали о калыме и приданом, угощались мясом и медовухой, но нет-нет да и гремели про жалованье для служащих башкир и оброк для иблисов с заводов.

А мы с тобой по тогдашней суровости нравов не успели перемолвиться и словом, только поглядывали друг на друга

сквозь густые ресницы. Вскоре ты умчался к абызу Кинзе в Берды. Был при нем все долгие месяцы бунта, объехал все четыре башкирские даруги с его посланиями, лишь по пути оказываясь в родных степях, и исчез без следа на вторую осень. Я по сей день не знаю, прочел ли мулла над тобой суру «Ясин».

3

Иду к темному теплу юрт. Мне надо поговорить с этой девочкой, с Гульбадиян. Мне стыдно, что я не сделала этого раньше. Собираю ей все, что она любит: кусочки вяленого гуся, кольца жирной конской колбасы, ломти напеченного утром хлеба, медовый чак-чак. Собираю собственные сокровища: каждую встречу с женихом, утешения родителей, лечащее наступление весны, песни заезжих сэсэнов. Боюсь, Айбике-апай не понравится то, что я хочу сказать ее дочке.

Первое, чему дивлюсь – Гульбадиян не тянется к еде. А ведь с малолетства это была ее первая радость. До сих пор помню ее крохотной девчушкой с утиной ножкой в руке. Объясняет сама:

– Поела в этой жизни вкусного. Аллах решил: будет, попотчевали. Пора к другому привыкать.

– Как не стыдно такое говорить! Скажи: «Раскаиваюсь! Тауба!», – требую я. А сама дивлюсь второму – глазам. Я и не помнила, что они у Гульбадиян зеленые, как ил. Иргали-езне

из рода Айле, у них светлокожих и светлоглазых много, но цвет глаз его дочери много лет было не высмотреть за широкими, старательно наеденными щеками. Это лето выткало ей новое лицо, на котором нельзя не увидеть ярких глаз. Слезами она их отмыла, что ли?

– Мама и тебя переубеждать меня прислала? Хотите, чтобы поменяла одного жениха на другого, будто пару серег? – воинственно начинает Гульбадиян.

– Ай, кызым...

Ведь придумала, что сказать ей, Хайдар. Всю свою жизнь на одну нитку собрала. Поняла, на каком крепком сукне она шьется. Но смотрю на Гульбадиян: кожа нежная, как сметана каймак, глаза горят, как костры пастухов летними вечерами, голос звонкий, почти как у той девчушки с утиной ножкой в руке... Не хочу я ей добротного сукна. Пусть будут бархат, бисер, кораллы и мониста.

– Кызым, ведь и я потеряла жениха тридцать с лишним кочевий назад. Страшное было время: бунт, кровь, виселицы в аулах...

– Знаю, – переходит на шепот Гульбадиян.

– Пропал мой Хайдар, когда было сготовлено все приданое, когда я уже не робела смотреть ему в глаза, когда знала, верила, что моя судьба – рожать похожих на него детей. Потом не могла и думать, чтобы пойти за другого. – А тебя звали? – не верит молоденькая девушка, глядя на седую тетку.

– Звали. Твой отец как-то подарил своему приятелю узор-

ный подседельник, который я валяла. «Кто такой мастер?» – подивился тот, попросил показать что-то еще. Иргали-езне достал молитвенный коврик, рассказал обо мне... А друг возьми да и посватайся! Тем только и спаслась, что твоему отцу и самому нужна была моя работа. «Лошадь – слава, овца – богатство», – его слова, сама знаешь. А так нипочем бы не отказал другу...

«Спаслась»! Так мне никогда не переубедить Гульбадиян. – Не желая идти замуж, я прослыла блаженной-дивана на весь род. Твой отец с матерью могли поручать мне любую работу, ведь это им предстояло кормить меня. Молодые невестки глядели с жалостью. Племянники не больно-то привязались... Нет-нет, я не в упрек, я про другое. Ты не знаешь, да и никто не знает, не помнит, что моим любимцем был твой старший брат Ильмурза. Он только родился, когда меня из сожженного отцовского аула привезли к вам. Я радовалась его агуканью, первым шагам, сильным ладошкам, державшимся за мой кулдэк. Но только мы посадили его на коня, он и думать про меня забыл. Позволял себя кормить, но сам неотступно следовал за вашим отцом.

– И вот это – самое страшное? Не привязавшийся к тебе мальчишка?

– Самое страшное – это ни с кем не делить свою жизнь. Пока ты этого не чувствуешь: рядом отец, мама, братья, незамужние подруги... Но пройдет десять, пятнадцать кочевий, и радость от наступившей весны, от предстоящей «Вороньей

каши» будет только твоей. Слезы, мечты, желания – все будет только твоим. Мамы не станет, у подружки захворает ребенок, братья уедут на ярмарку... Не к кому будет побежать с самым важным, по-настоящему заветным.

Гульбадиян хмурится и, не глядя на меня, подхватывает с тустака крохотное солнце медового чак-чака.

4

Я не соврала ей ни в одном слове, Хайдар. Но не думай, что я сомневалась в своем выборе, что хоть на миг помышляла о браке с другом Иргали-езне. Даже имени этого мужчины вспоминать сейчас не хочу.

Лучше вспомню тот зимний день, когда ты заехал к нам по дороге в осажденную Уфу. Отец усадил тебя на почетное место, задал столько вопросов, сколько травинок в стоге сена, накормил так, будто ты больше никогда не увидишь человеческой еды. Грозно поглядывал, когда я показывалась из-за шаршау, а потом все-таки отпустил нас погулять. Мы шли молча, я не смела поднять глаз и все думала: «Муж. Мой будущий муж».

А ты вдруг набрался смелости и заговорил. О том, как в восемь лет был наездником на скачках, пришел вторым и заработал названому отцу годовалого жеребенка. О том, какой веселой и смелой я тебе показалась, выглядывая из-за шаршау. О Бердах, съехавшихся туда башкирах и почему-то

много об одном из них – сыне старшины Шайтан-Кудейской волости. «Он пишет стихи и песни, Танхылу. Вот, я запомнил для тебя», – сказал ты.

Намело снега, ноги тонули в сугробах, гасли сумерки. Я старалась не забыть ни одного слова:

Над простором седых ковылей
Полночь лунная тихо плывет.
В перелеске поет соловей,
Не пойму я, о чем он поет.

Не о том ли, что солнце-батыр,
Все в кольчуге своей золотой,
В блеске страсти обходит весь мир
За красавицей робкой – луной?

С тех пор минуло больше тридцати кочевий. Я спешу помочь с вечерней едой для пастухов Иргали-езне. На мне справный елян, но я зябну. Это лешие-шурале мелким дождем плачут о веселом Гайсе, плачут об отважном Хайдаре. Бросаю им немного чак-чака – пускай им не придется плакать о балованной Гульбадиян.

Мариям Кабашилова



Мариям Кабашилова родилась в Буйнакске в 1980 году. С 2005 года живет в Москве. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Юность», «День и Ночь», Prosōdia, «Этажи», «Особняк» и других изданиях. Сборник стихов «Вода» вошел в список литературной премии «Московский счет» (2012), поэтическая подборка – в шорт-лист лите-

ратурной премии «Живая литература» (2012). Участница Форумов молодых писателей России в Липках. Автор поэтических сборников «Вода» и «Физика».

Надвинь на брови северные сны...

Ты меня, дорогая, за всякое там прости —
За не пойманных бабочек и за пойманный щебет птичий,
А придется мимо нашего старого дома идти,
Постучи тихонько и мелодично.

Там уже никого, но хотя бы разбудишь то,
Что как будто на патефонной игле застыло,
Это сейчас мы знаем, что с нами было потом,
А тогда у гаданий разных судьбу вырывали силой:

Зажигали свечи, бросали туфли и проч.
Я – с разбитым коленом, ты – с вечной ангиной.
Помнишь, как играли? А страшные сказки, ночь?
Все цветы надоели мне, кроме одной георгины,

Ой... или розы красной с каплей нежной росы,
Мы с тобою с тех пор не изменились ни грамма.
Как из одуванчиков пыльных, вместе с тобой росли,
А теперь, гляди, кому – мачехой, кому – мамой.

«Это память твоя говорит спросонок...»

Это память твоя говорит спросонок,
Сладкой ватою мельтеша,
Знай, что каждый из нас в душе ребенок,
Каждый третий из нас – левша,

Переросший пальто, проболевший корью,
Сквозь буран идущий пешком
В нелюбимый сад и скоро – в школу,
С горки катящийся кувырком.

Вот он ест пломбир, вот шмыгает носом,
Вот запачкал руки в песке.
Вот бранилась мать, мол, где тебя носит,
А сама ушла налегке.

«Ускоряется август: брусника, ирга, ежевика...»

Ускоряется август: брусника, ирга, ежевика,
Солнце мягко роняет на лес белокурую прядь.
Что случилось с тобой и со всеми, скажи-ка?
Мы совсем разучились друг друга в лицо узнавать.

Среди долгого сна, среди звездного шума —
Ломоть лета и осени след, незаметный для глаз.
Вот случится зима, утопай среди этих вещей и думай
О трамвае, везущем в бескрайнюю облачность нас.

Мимо ив и пруда, по Покровке, вдоль кинотеатра.
Там на четверть – дожди, остальное – снега, там
Мы расходуем жизнь на сегодня, вчера и на завтра
С невесомой беспечностью, свойственной нашим годам.

Оставайся таким, я таким тебя помню и слышу,
Ты сидишь с нами рядом в трамвае полупустом,
С тихой грустью в глазах, с роковой судьбой под мышкой,
С повторяющим длинные строки из Библии ртом.

Продолжайся в прозрачной воде, в колокольном дин-
доне,
В аромате антоновских яблок, роняющих стук
В золотую траву, в листьях клена, раскрывших ладони.
Это твой не последний, не первый, не следующий круг.

«Ни слову быстрому, ни воробью...»

Ни слову быстрому, ни воробью
Не воротить того, что говорю

Тебе, шагнувшему второй ногой,
С зимой повенчанному, с ее водой.

Тебе там нравится? Там хорошо?
Зачем ушел ты? – Я не ушел.

Вот длится солнца горячий круг,
Вот длится сердце – тук-тук.

Я шлю за море, за много верст,
Немного света, улыбки горсть,

Щепотку взгляда, ломоть руки —
Тебе, стоящему у той реки.

Я убаюкаю, уберегу
Твое стояние на берегу.

«Как такое с тобой могло случиться —...»

Как такое с тобой могло случиться —
Слово недоброе, сердце, судьба, ключица?
Слышишь мой тихий голос, молитвой полный?
Ты теперь только то, о чем я помню,
То, что трогала, грела, кутала в одеяло,

Соединяла с собой, от себя отделяла,
Прятала ото всех в стихотворной речи,
Не отпускала, но отпустила в вечность.

«Был мне раньше пречистый пруд...»

Был мне раньше пречистый пруд
По колено, теперь – по грудь,
Там отныне другие пьют.

Не ходи туда, сил не трать
На ночь глядя или с утра,
Это я тебе – как сестра...

Эх, да что там с сестры-то брать! —
Я тебе – настоящий брат.
Вот уже столько лет подряд

Время с нами и так, и тик.
Льется небо за воротник,
Ты мне шлешь журавлиный клик,

Я в ответ кликну мышью, лишь
Я одна слышу эту тишь,
Когда ты, не касаясь крыш...

«Взвали на плечи грузное вчера...»

Взвали на плечи грузное вчера,
Пусть запирает первый гололед
Твои следы, жужжит внутри пчела
И производит стихотворный мед.

Ложись всей тяжелой грустью на кровать,
Без снов и снега наступает год,
А все и впрямь – трава, трава, трава,
Так набивай кириллицею рот,

Спешి сказать «люблю» и «навсегда»,
Назвать все вещи, полные красот.
Пусть обитает водная среда
В стихах про слово, что уже вот-вот.

«Если ты спросишь о том, что я знаю о феврале —...»

Если ты спросишь о том, что я знаю о феврале —
Комната, книжная полка, чай на столе.

Знаю, как студит, кружится, хрустит, рассыпается снег,

Мысль переходит в явь, затеваясь во сне.

Пару слов подберешь и бросаешь на произвол
Русской речи, с деревом спорит ствол.

Только войдешь – привет и пора идти —
Ночь проглотила ломоть циферблата от двух до пяти.

Дальше – лишь тишина, не сдвинуть с места.
И хорошо, никому не друг, никому не-веста.

«Надвинь на брови северные сны...»

Надвинь на брови северные сны,
Чтоб схорониться от других увечий,
Так много раз дожил ты до весны
Пред тем, как навсегда в сугроб улечься.

Среди заполонивших сны картин
Что было, не было на самом деле?
Слоняешься по комнате один,
Никто тебе кровати не постелет,

Не улыбнется и лица овал
Не повернет, не позовет обедать.
Всех тех, кого когда-то целовал,
Ты предал.

«Нет теперь никого вокруг...»

Нет теперь никого вокруг,
Кто бы твой залечил недуг,

Тот, с кем в воду, огонь, по ком
Слезы льешь. За семь верст пешком

Не ходи за ним, эй, постой.
Отведи себя в дом пустой,

Ты теперь всему голова,
Вынимай из тела слова,

Строй их в долгий, короткий ряд,
Пусть они с тобой говорят.

«Взаперти от болез-невзгод...»

Взаперти от болез-невзгод
В своей комнате тычет в «Ворд» —
Каждый сам себе жив и мертв,
Каждый сам себе — кот.

Скажет слово и вложит в уши,
Жжет глаголом и сам же тушит,
Сам себе наливает в кружки,
Каждый сам себе – Пушкин.

«И вот на целом свете никому...»

И вот на целом свете никому
Ни друг, ни брат, родной земле – не пахарь.
Ты горько пьешь, поскольку жизнь – не сахар,
И тратишь свои дни по одному —
На месяцы, на зимы и на годы.
В промозглой темноте кому угодно
Ты говоришь, и речь твоя не врет,
Когда слова не попадают в рот.

Фарид Нагим



Фарид Нагим родился в 1970 году в селе Буранном Оренбургской области. Работал грузчиком, слесарем механосборочных работ, журналистом. Служил в Советской армии, окончил Литературный институт. Печатался в журналах «Литературная учеба», «Дружба народов», «Октябрь».

Автор романов «Танжер» и «Земные одежды». Лауреат премий «Москва – Пенне», «Русский Декамерон», журнала «Дружба народов» и премии Ивана Петровича Белкина. Пьесы шли в театрах Германии, Швейцарии и Польши. Живет в Москве.

Все есть, и никого нет

Повесть

Вечер. Туман. Море еле освещено. Самый свет далеко-далеко. Изредка кричат чайки, словно бы хохочут, потерянно, с истеричной гомосексуальной интонацией.

– А вы, простите, кем доводитеесь умершему? – вдруг приблизилась соседка, обдала таким же, как и сама, постаревшим и каким-то бесполом парфюмом.

– Так, приятельствовали.

– Обратите внимание, барышня рядом с Круковякиным – любовница покойного, – не удержалась старуха. – На двадцать лет моложе! Даже не скрывает публичность связи. И деньги, говорят, пропали.

На том краю стола звонко постучали вилкой по бутылке:

– Теперь уже можно сказать, что Виктор Борисович – великий русский писатель!

– А ведь сын городской алкашни, – снова прошептала старуха. – Дырки от общества.

Это был момент, которого Слава боялся всегда, цепенел и не справлялся с ним – тоска одиночества, такая страшная, как неземная. Невыносимая, руки леденеют, замирает душа, и колотится сердце – будто от обиды. В каком-то отчаянии обежал памятью нескольких людей – пустые, холодные лица, и в который уж раз повторил сам про себя: «Я никому не нужен. Меня никто не любит». Хотелось встать и прекратить это навсегда. Кто не был одинок, тому не понять... И тут Витька, Магда, подруга ее Татьяна. Вошли, продолжая уличный разговор, распахнули дверь, и уютный электрический свет прихожей застыл перед серым и будто неживым пространством двора. Они вытащили Славу из сумеречного состояния. Общаться было трудно, и он, наверное, диковато смотрел на них, медленно, нехотя, рукав за рукавом натягивая на себя пиджак светской беседы. Он только теперь вспомнил, что Витька уезжает, за ключами пришел, спросит сейчас. – Что брать с собой в такой сезон? Всегда непонятно.

– Меня брать, – Слава хмыкнул и смущенно растер по голове седые, сильно поредевшие волосы.

– Еду матери с братом надгробие поставить.

– Да уж помню – кресты из водопроводных труб сварены.

– Вот... Собирался в Доме актера остановиться, но, понимаешь, позвонил – дороговато. Ведь не сезон, а все равно,

понимаешь!

– Да, понимаю, – а про себя огрызался: «Деньги на мертвых, а мне, еще живому, жить не на что».

– Дашь ключи от квартиры?

– А когда я их тебе не давал?

Внешне Витька будто бы негодовал на поездку, но все же был весел, возбужден, казался помолодевшим и почужевшим, как всякий человек, который уезжает куда-то. И Слава позавидовал его радости и моложавости, подхватив как бы его мысли: «Магда больна раком... Останутся московское жилье, дача, какие-то ее накопления, и со всем этим – долгожданная свобода и тот самый момент жизни, в котором он уже ни от кого не зависит». И на пальто его кашемировое смотрел уязвленно, обижался на высокие ботинки из бархатисто-коричневой замши, с негодованием косился на красивый узор перфорации. Сам-то уж давно одевался в секонд-хенде, и то стараясь попасть на «счастливый час» со скидкой. А было время, когда Витька кланчил у него всякую «фирмовую» одежду. Тот джинсовый костюмчик, присланный из Израиля. Он шел ему, Славе – нет. Стилль не его. А Витька ходил с подвернутыми манжетами, как киноактер. И в редакции крымской газеты с насмешливой и высокомерной завистью поправляли воротничок с вывернувшимся лейблом: «Фирму носим, Витя, да? Интересно-интересно».

Татьяна все хихикала чего-то, а потом, когда Витька в очередной раз отлучился, сказала стиснутым голосом: «Слав, у

тебя что, разливают в ванной?»

Магда наострила нос. Витька вышел. Все ждали его. Выдохнул, пригладил волосы и усмехнулся с развязным удивлением: «В парикмахерской сегодня сказали – у вас не волосы, а пушок. Пушо-ок».

– Ты где успел дернуть, животное? – Магда заглянула в ванную, гремела там бесцеремонно, но ничего не нашла.

Слава протягивал ключи и все еще надеялся, что Витька позовет с собой или Магда вдруг предложит сопроводить мужа в Крым, следить, чтоб не пил, денег даст – хотя бы на билеты.

– Ты надолго? Или туда и обратно?

– Туда и обратно.

* * *

Парк. Пыльные сумерки. Конец октября. Опавшие листья кажутся бесплотно белыми. Завибрировал в недрах одежды, удивил своим настойчивым существованием мобильник. Не любил он эти телефоны, раздражали они. Длинный крымский номер. Ветер срывал звуки трубки. Валя из Васильевки. Когда-то была влюблена в Малаховского, Витьку. Таскалась на квартиру Славы и раздражала тупым сиденьем у Витьки на коленях – как ни придешь, они сидят в темноте на табу-рете.

– Ну что, Валя, что? – разозлился, затрясся душой, думая,

что Витька устроил пожар или затопил квартиру.

– Приезжай... Витю хоронить.

Тошнотворным холодком обдало живот. Это знакомое чувство отчаяния и невозможности поверить случившемуся. Отстранил телефон, попятился от него.

– Он с любовницей был у тебя! Молодая, сорока еще нет, – далеким кукольным голосом выговаривала Валя. – У него инсульт, а она постеснялась скорую вызвать! Гон- доны по всей квартире! И это... Слав, у него доллары с собой были на памятник, а я посмотрела – вообще ни рубля не осталось. Нормально?!

Резко, точно из-за небесного угла, подул ветер, и в сумраке с деревьев оглушительно сорвались аплодисменты. Телефон вспыхнул под ботинком, видимо, убрал его трясущими руками мимо кармана. Мог бы и потерять. Тут же новый звонок, и свет сквозь ржавые дырочки кленового листа. Поднял, прислушался и скривился.

– Представляешь, эта сволочь умерла! – вскрикнула Магда. – Похорони его. Слышишь?! А я ногу сломала, упала на похоронах Крандиевского. Саша передаст туфли и белье.

– А он поедет?

– Нахрена?

В ее грубой громкости ему показалась растерянность перед сюжетом и мстительная радость: «Вполне еще здоровый мужик, конечно, думал пережить жену, больную раком, пользоваться ее деньгами, квартирами и так далее». Даже

Сашу, сына, не пустила.

Телефон снова вибрировал в ладони. Люди как будто бы дорвались. И не скорбь слышалась, а крикливая радость новости или наигранный трагизм.

– Тромб, Слав. Там нельзя вычислить. Поедешь? Ты ему как старший брат был. Не беспокойся, ты все для него сделал.

– Что все? – он даже не понял, кому отвечает.

– Ну все, что мог, ты для него сделал. А, забыл сказать: с тебя некролог «Провинциальным задворкам». Ты лучше всех его знал.

* * *

Такая же осень. Семидесятые и советская тоска, которая была, была, о ней почему-то забыли. «Керосин! Керосин»! – кричит мужик на улице. Что-то пилит сосед в тисочках. Гудит керогаз. Витька ходит по ялтинской коммуналке в пальто, накинутом на плечи, бубнит свои стихи. Мечтал публиковаться в московских журналах.

– Скажи, а что, если я возьму себе псевдоним – Вагантов? Виктор Вагантов.

– Флаг тебе в руки, товарищ Вагантов!

– А что, что?

– Керосин! Керосин!



Каменное удущье кладбища. Гроб от Союза писателей ему был велик. Витька лежал без пиджака, в белой рубашке. Казалось, ему легко и просторно в гробу. На бежево-серой, лоснящейся от грима шее вздрагивал на ветру воротничок. Рядом наконец свои – брат Толька и мать. Слава невольно посчитал, и выходило, что Виктор умер в том же возрасте, что и мать, коротышка Дуська. Пятьдесят восемь лет. Живые толклись в ожидании углубления и расширения могилы. Каменистая ялтинская земля, клочок кладбища, словно этажерка, балансирующая меж холодными, мрачными горами и морем, синевато теплеющим далеко внизу. Тяжко стало, мелкими показались дела человеческие, а жизнь – такой короткой, что дыхание в груди сперло. Детская писательница с прилизанными волосами на маленькой головке и в несуразно больших очках зачитала биографию покойного с листка, ветерок играл им, как и уголками воротника. Писательница сбивалась, дрожащей рукой расправляла бумагу. Журналист «Крымской газеты» с важным подобострастием держал перед выступающими мобильник: Магда слушала прощание на кладбище по громкой связи. Серо, промозгло, и всюду фото умерших – толпы суровых, печальных лиц с поджатыми губами. И этот простор в нежной сиреневой дымке, резко забирающий взгляд высоко вверх, справа обрывающий вниз и

уводящий в бесконечную даль, когда уже не разберешь, что там – море или космос.

* * *

Поминки. Открытая площадка летнего кафе. Море посеревшее, в мелкой резьбе волн и каких-то дрызгах брызг на поверхности. Сколько свирепости в этой мелочи волн! Тент хлопал и ослеплял, что-то напряженное, болезненное в этой белизне. Кукольно-китайский дребезг стульев и столов, составленных вместе. Полуслепой блеск пищевой пленки на кушаньях. И это вечное: «Я помню... Кто бы мог подумать? Вот только вчера... или позавчера я с ним говорил, он был трезвый».

– Я помню наши разговоры с Виктором в редакции. Он приносил свои рассказы, из позднего, – унылая дама, пальцы в дешевых перстнях бережно поправляют черное с проседью каре. – Он был украшением «Ялтинского литератора». Газета закрылась, кстати.

– Нет, простите, очень некстати! – откликнулся кто-то.

– Денег хватает на все, кроме культуры, как вы знаете. К чему это я? Так вот, я хочу напомнить слова Чехова: «За дверью счастливого человека всегда должен стоять человек с молоточком и напоминать о многих несчастьях других».

Пожилая дама из тех, что полны изнуряющей и бессмысленной энергии. Большие, по старой памяти плотноядно при-

чмокивающие накрашенные губы, черная водолазка, дерматиновый жилет, несколько ярусов причудливых деревянных бус. И Слава с улыбкой вспомнил вдруг, что сам покойный называл ее «человек с молоточком».

В стеклянных стенах кафе, удлиняясь и уменьшаясь в ледяную бездну, отражались другие столы и другая компания, но и там ветер так же трепал белую с люрексным блеском скатерть, так же скорбно стояла женщина. И взвихрились оттуда салфетки, прилетели и закружились под ногами Славы.

– Скажите, почему здесь микрофона нет для выступающих?

– Вы кому?

– И я хочу помянуть, хоть я и не пью! – и этот настойчивый стук вилочкой по бутылке. – Я помню...

И я помню.

* * *

Шестьдесят шестой год. Поддавшись советскому романтизму, пошел после школы на стройку. Строили ялтинский автовокзал. Молодежная бригада – Саня Давыдов, ломавший об голову кирпичи и в детской комнате милиции требовавший себе женщину; голубоглазый, черноволосый красавчик Мазур, в пятнадцать лет уже пивший водку стаканами; и Толька Малаховский с Чайной горки, всегда голодный. Слава радовался, что может поделиться с ним завтра-

ком и обедом. Только любил читать и гордился, что живет на улице Достоевского. А еще врал, что его дядя – капитан дизель-электрохода «Россия». Его как малолетку отпускали с работы пораньше. Слава собирался к шести. О, эти прохладные железные шкафчики, вырезки из «Огонька» – фигуристики, гимнастки какие-то – застенчивая советская эротика; спецовка, заляпанная краской и белилами, местами мягкая, местами ломкая. И приветливый трепет родной одежды. Чистая и легкая усталость молодого тела. В кармане фуфайки – «Юность», свернутая трубкой, и под пальцами приятный перебор почернелого веера страниц. Серый ялтинский декабрь. Да, это был декабрьский день. Слава возвращался с работы и у своего дома под кипарисом увидел замерзшего Тольку. Зачем-то снова протянул ему руку.

– Ты че, женатый, что ли, в перчатке здороваться?

Слава стал стягивать перчатку.

– Ты спишь, что ли? Мы ж с утра здоровались!

– Чего ты разбушевался тут?

– А ты чего так долго? Заколебался ждать тебя!

– А чего ты ждешь?

– Приглашаю тебя на свой день рождения!

Это было неожиданно и приятно. Слава застеснялся, отказывался.

– Пойдем, не выпендривайся! – Толик схватил его за руку и потянул.

– Ну, пожалуй. Ладно, дай хоть переоденусь.

Забежал домой. Мать в пальто стоит у керогаса. Жарит бычков. Взял у нее конфеты «Красный мак». Надев куртку, замер на секунду в нерешительности, неизвестно для чего зафиксировал нахохлившуюся мать, озадаченно поджатые губы бычков – ну, обычный момент жизни – и вышел. Всунул коробку в красные от холода руки Тольки. Вид у него растерянный, недоверчивый.

– Тебе, ну!

Ехали в раздувшемся от народа автобусе, на «Володарско-го» он, как всегда, опасно накренился, и Слава, прижатый к двери, затосковал, будто предчувствуя что-то: «Зачем еду? Куда? К кому?» И в то же время что-то приятное, интимное нагревалось в груди, ширило ее.

Коммуналка на Чайной горке. Сыроватый запах пельменей. Каморлюк четыре на четыре, освещенный лампочкой в сорок свечей. Приземистая женщина курила в форточку. Кривая трещина на запотевшем стекле жирно залеплена почерневшей, влажно блестящей замазкой. В промежутке меж окон – трюмо с новогодней бахромой на зеркале. На кровати с газеткой «Советский спорт» лежал мужчина. Возле батареи, в которую сухо влипла половая тряпка, грелся мальчик. Назойливой мухой жужжала радиоточка.

– Вот, Витюха – братан! – насмешливо представил Толька. – Я ему рассказывал, ждет тебя и пельменя лепит с самого утра!

– Лепит. Горбатого он лепит! – мать затушила окурок в

банке из-под кильки. – Вчерась захожу в сараюгу, а они там «чаврик» пьют с цыганенком Саповским!

– Рановато, Витюха, – зашелестели газетой худые татуированные пальцы мужика.

– Пьете, говорю, а матери не оставляете! – щерится в улыбке, похожая на воробья – большой живот, тонкие ножки.

Радиоточка, «Советский спорт», но чувство, будто попал в дореволюционное прошлое, к несчастным рождественским мальчикам. Щуплому, гибкому Витьке трудно было дать его двенадцать лет.

Пельмени Малаховские ели настороженно, будто прислушиваясь к чему-то и обдумывая каждый свое. Витька исподлобья, как это делают дети, поглядывал на него. Бутылку достали из сетки за форточкой. Она запотела, пошла потеками. Мужик отгрыз крышку-бескозырку: «Причастимся», – и кивнул Славе на рюмку. Он подвинул, торопясь прожевать, и вдруг больно прикусил зубами что-то жесткое, скользко-хрусткое. Замер, ощупывая языком, стесняясь пальцами лезть. Витька издал какой-то звук, стул восхищенно заскрипел под его легким телом.

– У него, у него! – вскрикнул он и заерзал, будто углей под зад подсыпали. Как блестели эти глаза! Сколько в них было радости и счастья!

Это Витька копейку в пельмень залепил.

* * *

– На эту копейку я жизнь прожил.

– Что?

– Это я так, сам себе.

– А вы тоже стихи читать будете? – полная старуха в шляпе. Крупные загорелые руки. Морщинистое, когда-то, видимо, красивое голубоглазое лицо, но с годами тяжело и грубо помужевшее. – Мы по очереди.

Слава встал из-за стола и отошел к перилам кафе. Сердце задышалось. Едко-кислая слюна во рту. Сплюнул. Снизу на него посмотрел старик. Он ходил по пляжу с металлоискателем. Отрешенно водил им из стороны в сторону у самой кромки прибоя, рвущегося кривой пенной полосой. Что-то безумное в этом.

– Мы с Витькой... Виктором Борисовичем вот только на днях пересекались, – доносилось с площадки.

* * *

Тот зимний день рождения был единственный раз, когда он видел всю семью за столом. Так и болтается эта светящаяся колба во мраке памяти. Витька пронзил его душу. В груди заныло. И водка за четыре двенадцать оказалась ка-

кой-то свежей, вкусной. Эти пельмени, уксус. Слава смотрел на убогое жилье, освещенное мрачным светом сорокаватт-ки, на помойное ведро под раковиной, на грязные кальсоны в углу, а душа наполнялась радостью, и казалось, что впереди его ждет что-то очень хорошее и сбудется все им задуманное. Хотелось рассказать им всем что-то невероятное, новое, зарубежное. На радостях он даже заспорил о чем-то с татуированным мужиком и говорил ему: «Ну, положим, вы правы, Борис». Витькина шкодная голова, наклонявшаяся из-за Толькиного плеча, тонкое красное ухо, блестящие глаза. Начитавшийся Диккенса и прочих «детей подземелья», Слава поклялся спасти его, защитить. И задыхался от радости и громады будущих планов. Опынел, тосты провозглашал какие-то, анекдоты про Брежнева рассказывал. Потом бегал в уборную на улицу. Приятно и радостно было чувствовать распалившимся лицом резкий холод декабрьской ночи. Мочился, покачивался и с наслаждением бурчал под нос: «Жизнь – это сущий пустяк, Славка! Такой прекрасный и очень пьяный сущий пустяк!»

В школу Витька почти не ходил. Воровал со своим другом Саповским варенье по сараям и рубашки отдыхающих из санатория имени Куйбышева. Одну даже Слава у них купил за десять рублей. Потом Саповский несколько раз приходил: мол, продешевили, она нейлоновая, добавь два рубля.

– Что же ты делаешь, Вячеслав? – горько изумлялась мать. – С кем ты связался? Мамаша – городская пьяница,

мужик – отсидел, говорят, человека топором зарубил, и это хулиганье с Чайной горки!

Но Витьку мать жалела и привечала. А он уже почти поселился у них. Много читал. Скрывая слезы, тряс плечами над «Нелло и Патрашем». Холод, сквозняки в коммуналке – и Витька вместе со Славой спал на старом раскладывающемся диване. Когда с одной половины кто-то резко вставал, вторая падала. Мать подкладывала им в ноги нагретый на печке и завернутый в тряпку кирпич. Зимние холода, грозы и молнии, бросающие горы с места на место и освещающие море, которое ночью, оказывается, такое же голубое, как и днем, этот кирпич в ногах...

Дети Малаховские поражали его. Какие пронзительные были дети! Стремилась к красоте, пытались образовать вокруг себя дом. Толик бил в туалете бутылки с родительской водкой, гнал из квартиры-голубятни пьяниц, книжки читал. А Витька вдруг пошел на киностудию с просьбой сниматься в детских фильмах! Тольке проговорился, тот хохотал, дивился и всем об этом рассказывал. Никто не верил, конечно, этому сумасбродству, наивной детской прихоти. Но Витьку взяли! Сами пришли за ним в сараюгу и позвали «в кино». Он подстригся, выпросил у брата его любимую рубашку с кармашками на молнии и шевроном на рукаве («Дядя привез из Америки»). Витька снимался в «Дубравке». Там был один эпизод, для которого выбрали именно его. Вернее, его спину. Нужно было, чтобы на мальчика сзади прыгала кош-

ка. Она невольно царапалась. Своего ребенка московские родители отвели в сторону. Использовалась шкура пацана без защитников. Было несколько дублей. Кошка расцарапала кожу до крови. Но главное – пострадала рубашка. Витька с обидой вспоминал это. Вспоминал, как прятался в сарае, проклинал это кино и плакал, ожидая кары. А потом его с матерью вызвали в кассу Ялтинской киностудии. На телевизор «Верховина», купленный с первого гонорара, собирались соседи, и он с гордостью сидел среди них, как взрослый, оглядывая притихших мужиков и баб. «Дети пьяниц, а гляди-ка, в люди выходят». Потом он снимался еще в каком-то известном фильме вместе с Николаем Крючковым. Бывало, народный артист пил, и съемки задерживались. Коротышка Дуська тоже присоединялась к этим интересным эпизодам за кадром. Ее прогоняли с площадки. Витька страдал и боялся, что и его попрут заодно. Когда съемки закончились, то перепутали его фамилию в титрах. Он переживал. Стеснялся соседей. Через много лет, когда он потерял деньги и писательский билет, эти же соседи ему с благоговением вернули все: «Смотри, добился своего! Член... Вышел-таки в люди!»

Вспомнил и это – как однажды задержались возле киоска «Союзпечати». Витьке понадобилось что-то. Он жался с краю, переминался с ноги на ногу.

«В ГДР на пленуме ЦК Социалистической единой партии Германии руководителем стал Эрих Хонеккер»... «Л. И. Брежнев начал трехдневную поездку в Грузию»...

И вдруг Слава краем глаза заметил, как Витька, перебирая снимки-открытки актеров советского театра и кино, разложенные на переднем плане, воровато подкладывает меж ними свое фото, свои детские кудряшки и торчащие уши.

* * *

— Это для вас он писатель и член жюри. Для меня он просто сосед... Так, мобильный, извините.

— Скажите, а где греческий салат? Это греческий салат?

— Это кутья!

— А я думала, греческий салат. А где же греческий салат?

— Зыли!

— Ой, как прекрасно! Хы-хы...

Задувало свежим, солоноватым ветром с моря и тут же — мусорной пылью. По тенту над столами ходили и тихо переговаривались чайки. Иногда кто-нибудь из них выглядывал, показывая нервную и подозрительную голову, как у сумасшедшего с манией величия.

— Соль и кипяток бесплатно, пиво только членам профсоюза.

— А кто же оплатил поминки?

— Виктор Иванович...

— Борисович!

— Борисыч! Известный российский писатель, член жюри!

* * *

Лет в четырнадцать Виктор принес «рассказики» в школьной тетради. Слава, уже студент Литинститута и «настоящий писатель», брезгливо листал страницы, насмешливо морщился, а потом, прочитав про пьяницу-мать под забором и слезы мальчика, постеснявшегося признать ее при друзьях, возрадовался своему наитию и со страхом дивился верности судьбы, выведшей его на этого пацана.

– Да это настоящая проза, Виктор!

– У меня еще много таких проз, брат!

«Как восхитительно и радостно парит в небе чайка, вместе с ней парит и возносится, мечется и опадает моя душа. И не верится, что это та же самая птица, когда она приземляется – грузная, безобразная, – с обыденным бесстыдством копается в объедках на пляже». А еще там были аплодисменты листьев, срывающихся с осенних деревьев, к которым вдруг прислушивается ожиревшая, расхотевшая летать чайка. Где он мог в Ялте услышать эти аплодисменты? Напыщенно, будто списал у какого-то манерного автора.

* * *

Едва доносится шум прибоя. Вдали – бесстрастное глад-

кое море. И взгляду с поразительной четкостью достигаем серебриющийся запредельный проход меж потолком неба и полом моря. Внизу, под опорной стеной кафе, кто-то нервно громыхает галькой и кричит в мобильник:

– Не понял! Еще раз!

Длинный, худой и дерганый представитель от Союза писателей, с простым и каким-то неписательским лицом, бывший военный, кажется.

– Мне уже час как в Симферополе надо быть! Нет, я просто недоумение свое выражаю, – он отвечал кому-то, чей голос едва угадывался.

Жесткий, будто из пластмассы пиджак с негнувшимся дешевым блеском и эти туфли с загнутыми вверх мысами – как же любят местные чиновники именно эту модель – «лыжи». – Да какой писатель, я тя умоляю! Че он написал-то?! Книжонка с рассказиками в эсэсэровские времена. Мне просто из Москвы позвонили, а так бы... Это что, мои прямые обязанности – каждого московского алкаша хоронить?

Дурак! И я дурак. Пусть я лукавил в чем-то, таил свое когда-то, но я не мог уже бросить этих хрустальнейших детей, каждого тащил как мог. Сколько сил, нервов моих и матери, сколько денег ее потрачено! А главное – времени сколько ушло! И не комедия, и, в общем-то, не трагедия. Дырки от общества... Какой же это был год? В комнате сумрачно. На улице, над подвалом, тускло светится вывеска общества слепых. Вскрикивает чайка на куполе бывшего госпиталя. Еле

видимый в кресле у окна, что-то читает Витька, еще в армию не ходил.

– Ты чего в темноте?

Включил свет и поразился его бледности. Листает страницы – и вдруг, по-дирижерски вскинув руки, сполз на пол и захихикал, потом в шутку пополз к нему по-пластунски, но с таким исковерканным лицом, что Слава отпрянул – Витька не смеялся, рыдал:

– Таньку с пятой бани изнасиловал!

– Как?! – Слава и сам засмеялся от ужаса.

– Раком!

Слава снова усмехнулся нелепой шутке.

– Все, Славик! Кончилась моя судьба! – и рыдает.

Как когда-то под лестницей, рядом с комнатой техничек, беззвучно рыдала восьмиклассница Говердовская. Красавица с синдромом отличницы. Лучше всех писала сочинения, обсуждала с ним «Анну Каренину» – Слава вел у них одно время литру – и вдруг забеременела.

– Как же такое могло произойти, Таня? – с горькой задумчивостью изумлялся Слава и вроде бы смотрел в классный журнал, а сам с неподотчетной брезгливостью, ревностью и страхом пытался разглядеть в этом ангеле темное, не подвластное никому.

Чайка кричала на куполе, и Витька горько плакал.

На то, чтобы Танька с пятой бани забрала из прокуратуры заявление, ушли все его сбережения, еще и у матери при-

шлось занимать.

* * *

– Друзья! А помните?..

Ноябрьский туман. Море и небо неразличимы. В мягком, тускло-белом космосе замер серый катерок, а гораздо выше над ним, в дрожащей эфирной бездне, стоят яхты с тонкими, как свечи за десять рублей, мачтами.

– А это что за салатик, не в курсе?

– Соль и кипяток бесплатно, пиво только членам профсоюза.

– А вот чуть не забыл...

Помню и я – как спасал Витьку от кулаков озверевшего пьяного Толика – он колошматил его головой об асфальт, а я ладонь под затылок подставлял. В армию, в Барнаул, отправлял посылки с продуктами, деньги и книги посылал. Хоть там у него нашлось время «Антоновские яблоки» и «Фро» прочитать. После службы стал возить его в Москву и Ленинград. Лившиц натаскивал его по литературе, особенно по любимым своим акмеистам. Знакомил с творчеством русской эмиграции, но говорил, что Витька истероид с резиновым стерженьком.

– Ну а я с каким, Эммануил Хаимович?

– Вы сфинкс, Слава. У вас стальной стержень.

Как-то Витька разнес «Подвиг» Набокова, а Слава снис-

ходительно думал – он просто злится на что-то, ревнует его к Лившицу. Мало ли чего. Тогда уже одно слово «запретное» делало каждый роман «оттуда» гениальным. Только сейчас, по второму прочтению, Слава и сам разглядел, что «Подвиг» в чем-то слабоват, ну, юношеский романчик. А у Витьки было врожденное чутье. Ведь было! И писал хорошо, не по-советски, дано было неистребимое драгоценное слово.

Но ужас братьев продолжался. Первым ушел Толик.

– Только умер, на...! – коротышка Дуська поджидала Славу после уроков.

– Как умер?!

Только умер нелепо и романтично, как и жил. На стройке в Мухалатке он и Кларка-колеровщица, очередная подруга его, попросили крановщика поднять их на крюке – на море посмотреть с высоты полета чайки. Как до такого додуматься? Пьяные наверняка были. Крановщик их поднял, но что-то там заклинило. Кларка выжила, упала на Тольку.

Потом мать умерла от цирроза печени. Перед смертью успела послать врача: «А подь-ка ты на...!»

А младший ее попался на краже. Самое ужасное – на тот момент дома у Славы в столе уже лежал и отсвечивал столичным лоском вызов: В. Б. Малаховский прошел творческий конкурс и допускается к экзаменам в Литературный институт.

О боже, какой же непроходимый дурак! Слава все-таки впихнул Витьку в Литинститут, в котором сам еще учился на

заочном. Экзамен по английскому Витька сдал за счет рассказа об акмеистах. Но все равно не прошел. В списках поступивших его фамилии почему-то не было. Запил, связался с какой-то извращенной мажоркой из кэгэбэшной семьи. Уже в конце сентября Славе позвонил комсорг Литинститута: «Поступил я твоего Малохольного. Пусть на лекции ходит. Где он?»

Может, и не надо было всего этого. Но где, где тогда мог оказаться этот человек, который, продолжая семейную традицию, подворовывал и пил все больше и больше? И с годами шел только в одном направлении.

* * *

За столами становилось громче. Люди неподотчетно хотели веселья. Не покидало странное ожидание, что сейчас сюда придет Витька, со смущением новоприбывшего присядет с краю, тихо спросит, по какому поводу банкет. Это все не проходила легковесная инерция жизнепрживания, как и в тот момент, когда Слава с порога почувствовал в своей квартире теплый и сладковатый, на грани противного, запах и сразу понял источник его. «О- о, брат, да от тебя уже трупом пахнет!» – мгновенная шутливая мысль и, как всегда, тут же – стремительный позыв, что можно исправить и эту задачу в Витькиной судьбе. Так интимно и раскрыто пахнут только новорожденные и умершие.

Шум прибоя – вдруг врывающийся в мысли, так неожиданно шумно вспухающий, что хочется вскрикнуть: «Хватит»!

– А помните...

Как же странно смотрелась за столами небольшая группа людей, знавших его эпизодически и пытавшихся придать воспоминаниям интимный характер! Они, не переставая, читали свои стихи, задаривали друг друга никому не нужными книжонками, изданными за свой счет или по благотворительности местных олигархов. Один из них сидел по-одаль, закинув ногу на ногу и листая свою книгу в золотом тиснении. Плотная бумага сияла дорогим глянцевым блеском. Ленточка-закладка на сквозняке трепетала над книгой. Автор явно ждал слова и нервно листал «себя». Твердое моложавое лицо, темные принципиальные глаза руководителя, морщинки в уголках, родинка на щеке.

Люди бесхитростно радовались возможности вот так посидеть, выпить, распалить себя прочувствованным словом и прочесть свое. Внезапная смерть в общем-то не старого еще, известного земляка сообщала всему особую тревожную сладость. Помягчели и расплылись тела, развязнее стали жесты, словно люди, скорбно сидевшие в начале, ушли, а на смену им явились другие. Покраснели соседки с боков, затумани-

лись глаза дымным хмельком. Пожилая дама в шляпе уже посматривала на Славу с женским, ироничным и в то же время робким интересом в глазах. Надо же, этот огонек не погас в ней, как это часто бывает даже с молодыми женщинами – серыми, будто присыпанными пеплом.

– Я сегодня поэт, а завтра не поэт и прошу не вешать на меня ордена! – худая женщина с косматой головой и желтым, морщинисто-нервным лицом выговаривала полупьяному соседу, но в то же время посматривала на остальных, ловила взгляды, слушают ли. – Это вообще сто восьмой круг от когда-то брошенного камня! Озеров, кажется, сказал. Не помните?

– Господи, как хорошо, что хотя бы бардов здесь нет!

– А вы хлеба не подадите?

– Какого? Кто так раскладывал? Белый на одном краю, весь черный на другом!

– У вас рукав в беде.

– Вот, возьмите... Понимаете, стихи отрастают. Это вызов. Это интимно. Я не хочу, чтобы трогали руками! – кому-то незримо доказывала дама. – Я пишу и не хочу никому давать. Нельзя никому объяснить, почему этот стих хорош. Все стихи оказываются всего лишь эхом. Они нисходят, диктуются свыше, что ли. Как их можно судить?

Мужчина, какое-то знакомое лицо, подпирал рукой тяжелую, хмельную голову, а в глазах – маслянистая задумчивость с одним только вопросом по плотской части, но сла-

бым, издевательски ленивым. Женщина это чувствовала и раздражалась:

– Начитанность видна, понимаете? Никто не хочет тратиться. Олеся Склянская-Ондар тратится по-другому. Что? Нет, вы молчите, просто молчите. Симулируйте не- решение.

– «Русский стандарт» – это хорошо, – медленно выговорил мужик и поднял рюмку. – Но жестковато, жестковато.

Люди пили, смотрели на часы, вставали, говорили свое «я помню», и тут же это начинали другие, от нервности обозначая свою продолжающуюся жизнь.

– А помните, совсем недавно они с женой вели «Чеховскую осень»?

Витька и Магда, как писатели из Москвы, заседали в жюри самого известного ялтинского фестиваля.

– Я помню: стоят на сцене! – восхищается мелкая, мышкообразная женщина, сияя глазами и нервно прихлебывая из рюмочки. – Она читала свои стихи, забывала, и он подсказывал ей строчки, продолжая читать за нее. Это было так трогательно!

Слава там сидел в первых рядах, смотрел на него и гордился до слез. Конечно, это «Ливадия» уже стукнула в голову, но было приятно, честно! Господи, сколько у Виктора было хороших девушек, которые могли создать быт, как-то выправить его писательскую судьбу. А он выбрал Магду. Встретились они в общеаге. Магда была в желтой кофте под

Маяковского, с сигаретой. Начался литинститутский роман. Люди были одинаково несчастны, и это, наверное, повело их дальше. Сошлись, чтобы мучить друг друга.

Слава покурил как-то с ними в институтском дворе. Поговорили, разошлись. Обернулся, глянул, как шли Виктор и Магда, одинаково сутулясь, и вдруг почувствовал, что надолго это у них.

* * *

– Да, умирают поэты. Вспомните Нику Турбину. Как плохо все кончилось.

– А кто же все-таки отец девочки? Говорят, Евтушенко?

– Ой, все!

* * *

Общежитская комната перестала быть спасением. Нужно было просто-напросто устраивать жизнь. Витька – бездомный. Ялтинскую каморку мать его уже потеряла. Магда была родом из какого-то зауральского, возведенного на костях врагов народов, радиационного моногорода, возвратиться в который никак не могла. Там когда-то мать, бухгалтерша засекреченной шахты, гонялась за ней с топором.

* * *

– А Сережа Новиков, покойный, под конец стал говорить, что это он отец Ники Турбиной. Видимо, своей славы уже не хватало. А ведь в «Новом мире» стихи публиковали. Дружил с московскими поэтами.

– Странно погиб, если не сказать – криминально.

– Еще бы! Имея такой дом и собственный двор!

– Эх, какой там был бумажный ранет! – вырвалось у Славы.

* * *

Магде повезло в Москве. Пожилому товарищу мужа Татьяны понадобился для улучшения жилища фиктивный брак. Так Магда получила прописку. Потом ее взяли дворничихой на «Соколе», выдали ключи от комнаты в коммуналке. Жили бедно и трудно. Магда бегала на работу в рваных сапогах. Сашка у них тогда уже родился. Ложился спать голодным. Оставался один на один с самим собой. Мог сутки напролет смотреть телевизор, потом его тошнило от этого. Слава в свои приезды привозил ему пальто и обувь, рыбий жир и крымские фрукты. Ребенок примирил его с Магдой, как-то узаконил ее появление в жизни Виктора.

* * *

– А помните... Как же не помнить?

* * *

Они сидели вдвоем с Витькой на общей кухне. Сашка, лет восемь ему было, что-то чертил фломастером на обоях в соседней комнате. Магда к нему подошла.

– Саша картиночки рисует, мой хороший! А вот еще посмотри, там прямо картина, два гомосексуалиста на кухне, – отчетливо слышали они ее голос. – Ты знаешь, кто такие гомосексуалисты?

Виктор вскочил. Слава едва удержал его за руку.

– Вот что, что мне с ней сделать?!

Каждое утро Магда, пока не выпьет кофе и не выкурит сигарету, начинала с мата и разборок. Но вывести человека из себя она могла и одним молчанием. Шло от нее такое, что человека трясти начинало. Копалась в сумках Славы, рылась в записных книжках и письмах. В медицинской энциклопедии полуоторвала и скомкала страницу со статьей о гомосексуальности.

Витька делал вид, что бегает по каким-то подработкам. Сил тянуть воз семьи у него не было. Ерничал, чувствуя се-

бя примаком. Пил. Пять раз он кодировался по воле Магды, пока ему не стало плохо в метро. Врачи говорили, что если у человека нет воли, то кодироваться бесполезно. А она безжалостно настаивала на этом.

– Ты один тут, Саша?

– Да.

– А где же папа?

– А мы почитали с ним «Глупый шмель, золотое оплечье», и он ушел. Как всегда, в «стекляшке» пьет.

Славе казалось, что это литература мучает его. Теперь ему было не до критики Набокова. Напившись, Виктор обещал выдать гениальный роман о своем советском детстве, говорил, что перестройка произошла только ради того, чтобы он создал эту книгу. Обещания забывались. Пропадали сюжеты. От наблюдений и схваченных чувств оставались сухие скелетики, так и не обросшие литературной плотью. Мелкая суэта жизни засоряла мозг, вышибала из творческого состояния. Собраться и сосредоточиться Виктор не мог, да и не было места и времени сесть хотя бы записать что-то. Так складывалась судьба. Она вся насквозь состояла из сочинений одних для других.

Осень была творческим сезоном Виктора. Голова у него прояснялась. Кажется, он и пил меньше. Однажды в октябре Слава попросился присмотреть за дачей мастера своего семинара в Переделкине. Василий Петрович собирался в круиз.

– Не заливай мне! – шутил он. – Небось бабу хочешь сюда притащить?

«Ну да, прямо как вы на мою квартиру в Ялте!» – едва не вырвалось у Славы.

Он привел туда Виктора.

– Вот, садись и пиши! Тут столько было написано, что и у тебя само собой получится, – командовал с угрюмой радостью. – Только дачу не спали!

Попрятал алкоголь мэтра, по-хозяйски показал, как пользоваться газовой горелкой в ванной, еще что-то и оставил его одного. Радовался его творческому уединению в тиши писательской дачи. Через неделю поехал проведать, купил продуктов на станции, «Рислинг», отметить рассказ или что он там написал за это время. Смеялся про себя, представляя, как его встретит Витька – голодный, обросший, счастливо-творческий.

Поредевший парк Дома творчества. Сочно проминалась хвоя под ногами, скользила. Зеленоватая у берега и дальше – пресно-светлая поверхность пруда. Маслянистая вода казалась мягкой и теплой. Такая спокойная, что в отражении среди розоватых с подпалинами облаков виден летящий высоко в небе бескрылый самолетик. Он дребезжал, слоился, терялся занозкой. У берега шелохнулась поверхность, легко и коротко чиркнула рыба, и ощущение, будто рыба приподняла, приоткрыла воду. Распластался пришитый к воде водомер.

Странно: уличные ворота были закрыты на задвижку, пришлось обходить со стороны леса, где имелся тайный лаз в заборе. Заворожила странная избирательность солнечного луча. Вдруг в лесу, среди тысяч желтых листьев, вспыхивает и разбухает светом, трепещет солнечным зайчиком, истончается насквозь просвеченный один-единственный лист... Солнце меркнет вдруг, и не видно уже этого избранного, и не найдешь никогда в желтом сонме.

Со двора доносились крики. Чертыхнулся, сдвинул с раздражением доску и отпрянул. Меж черных стволов по желтым листьям бежала ослепительно обнаженная женщина. На розовато-синее, влажно и лаково блестящее тело налипли хвоя, листья. В движении груди плескались, сочно шмякались друг о дружку и разлетались в стороны. Раздувались тонкие ноздри, мышцы лица дергались, раздираемые страстью и веселым азартом, они двигались так, будто по ним изнутри, как по жирному холсту, хаотично водили пальцами. Пьяный дым в глазах. Она сдерживала крик, но он невольно прорывался, прыскал слюной, кривя и выворачивая по краям смачные губы. Голый Витька ухал и носился за нею, видимо, подражая какому-то орангутангу. Хотя он и без этого обезьяна. Курчавились измазанные грязью волосы на руках, груди и бедрах. Сколько было в этом сладчайшем угаре печального и непоправимого упоения! Он был все-таки красив, притягателен. Слава двинул доску на место. Почувствовал, как тянет руку сетка с продуктами. Стукнула дверь.

Через минуту хлопнула форточка. В абсолютной тишине с истерически смеющимся вывертом падал лист. Еле двигая онемевшими в отчаянии ногами, пошел на кладбище, выпил полбутылки с Борисом Леонидовичем.

* * *

— Но ведь было дело, говорили, что чуть ли не Евтушенко отец Никочки?

— Евтух? Красивая легенда, не более.

* * *

В перестройку, когда все союзы рвались и дробились, Магда с Татьяной пришли в Союз российских литераторов, остались там помощницами, секретаршами. А потом мужики трусили, психанули, не захотели связываться с неписательскими дрызгами, чураясь чиновничьих проблем и липкой финансовой хляби. В итоге Магда подняла истерично брошенные ключи и печати. Слава чувствовал, что женщины оказались материальнее, проще и смелее, потому что смелость их всегда второго плана, не подразумевающая мужской серьезности, ответственности перед настоящим спросом, словно бы их смелости есть куда отступать и чем оправдываться. Из секретарш Магда и Татьяна стали первыми сек-

ретарями. Так начался восход на писательский Олимп.

* * *

– И она больна раком...

– Господи, горе какое!

* * *

У них появились деньги. Казалось, деньги облегчили участь обоих и ребенка. А Славе стало тяжелее. И думалось, что он уже не нужен им.

Собрались на той же кухне. Стояли разрозненно. Виктор со Славой, Магда у окна с сигаретой, Сашка топтался у дверей.

– А завещай нам свою квартиру в Ялте, – вдруг сказал Витька будто бы в шутку. – А мы тебя деньгами будем поддерживать. Дверь поменяем. Евроокна на лоджии вставим.

Это были не его слова. Слышалась чужая интонация. Слава видел, что все в комнате ждут его ответа.

– Как-то странно, – растерялся, заметался глазами Слава и усмехнулся, но было тревожно и неприятно. – Завещание? Я еще поживу, пожалуй.

– Ну да, он еще нас всех переживет! – Магда выписывала окурком в пепельнице иероглиф приговора и смеялась легко,

издевательски, как это женщины только умеют.

Слава продумывал про себя простую логику их мысли и даже позитивно оценивал ее: «Мужчина одинокий и уже пожилой. Помрет, не ровен час, и пропадет квартира, отойдет к государству, а мы моложе его, у нас ребенок». Так плохо было. Он потерял работу и надеялся, что они поддержат его, как он их когда-то. Забавно, он и сам подумывал завещать свою квартиру Сашке, а тут застопорился и не знал, как возобновить разговор. Да и мать жива еще, господи! Через неделю они его выгнали. Пьяный Витька выталкивал его. Магда за спиной.

– Выходи, я сказал! – пьяный и наглый, как ужасно он похож на мать свою в этот момент. – На выход, братиша!

– Ты меня выгоняешь, что ли?

– Гони его! Он сплетни про нас распространяет!

– Какие сплетни, Магда? Да погоди ты, Виктор! Дай хоть книги собрать, посуду. Кружка там моя – Томашевский подарил.

– А подь-ка ты на...! – Витька даже интонацию матери повторил.

Расстались на долгие годы. Слава все это время жил на даче состарившегося мэтра, присматривал за хлипким советским наследством, опасным и громоздким газовым отоплением, платил коммуналку. Знакомые писатели передавали, что Магда интригует и публично возмущается, что писательская дача мэтра пустует, а проживает на ней некий человек –

не прописанный в Москве, не имеющий публикаций и книг и даже не гражданин России. Уничтожала его, а Витька не объявлялся. Не откликался на отчаянные письма о помощи. Слава слал их на тайный адрес: «Москва. Ка девять. До вос-
требования». Так Виктор предавал из страха. С безвольны-
ми трудно. Только однажды, в День Победы, позвонил в Ял-
ту, матери Славы: «Вы на меня не обижаетесь?»

Матери, в ее восемьдесят пять лет, вопрос показался глу-
пым и пустым.

– А что мне на тебя обижаться?

– Может, вам что-то требуется?

– Ничего мне не требуется, я со страха живу.

Как много этих мурлыкающих и чирикающих о том о сем.
Но видеть себя не могут, не хотят или не умеют. «Витька –
ссыкло!» – так про него говорил Толик.

А встретились на узкой дорожке к источнику. Магда толь-
ко получила двухэтажную дачу в Переделкине. Начали сдер-
жанно общаться. Магда изображала жизнь, успевание, по-
этессу с личным водителем. Сколько фальши, столько и
правды получается. Она уже была неизлечимо больна, об-
ставлялась иконами, щедро раздавала деньги священникам
и врачам. Снова возобновился разговор о завещании крым-
ской квартиры. А жизнь уже сворачивалась на глазах друг
у друга. Все есть, и никого нет. После походов к ним Слава
обнаруживал в карманах то пятьсот, то тысячу рублей – сто-
ял и с улыбкой рассматривал эту вечную Витькину копейку

из пельменя.

— А помните...

Помню. Магда сидит за столом перед тарелкой. Красное лицо вспухает, ужасно бугрится. Тускло светится под люстрой перекошенный мертвоволосый парик.

— Малаховского не видел?

— Нет, Магда.

Поднялась, пошла на двор. Слава слышал ее матерные крики на улице и удивленные, укоряющие возгласы соседей по даче. Вернулась. Следом сконфуженный Витька.

— Что случилось, Магда? — с легкой усмешкой, будто с превосходством.

Она села за стол, поправила парик:

— Подай мне вилку, животное!

Витька подал. Она швырнула ее в тарелку и пошла на второй этаж.

— Прекрати красть мои деньги и спонсировать этого античеловека! — кричала, не оборачиваясь.

Нахохлились оба. Стояли пристыженные.

— Я помню, как Виктор Борисович...

Малаховский подобрал возле дачи приبلудную кошку и назвал ее Мусей. Одна эта животинка и любила его. Была когда-то у него детская фотография мальчика с кошкой. Мусей они с Толькой звали свою мать, которую безнадежно любили и пьяную затаскивали домой по очереди. Провожая гостей и поглаживая кошку на руках, он говорил почти по Шекспиру:

«Не стал бы жить и дня, но Мусе будет трудно без меня».

* * *

Море провалилось в сатанинскую тьму. Холодно зажглись огни в кафе. По столам, отраженным в стекле, летали официанты с той стороны, бесплотно сквозя меж бутылок и фужеров. Молодая любовница напилась и уже не стеснялась говорить о последних счастливых днях с Виктором Борисычем. Ее слушали, но не слышали.

– Вот вы какая! Надо же, как интересно! – громко, с вызовом, сказал Слава.

– А вы что думали – лохушка-аниматорша с «Поляны сказок»?! Он мне ноутбук обещал купить!

Все склонили головы. Женщины искоса переглядывались.

– Боже, какая прелестная истерика, – начал Слава и оборвал себя, неотрывно, со злостью глядя на нее. Понял, что и сам тяжко пьян.

– Друзья, а давайте купаться голыми! – вдруг закричала желтолицая поэтесса и взобралась на стул.

– Ой, какой ужас! – ахнул кто-то.

– А что?! Так сказать, в честь! Я купалась с Ошаниным! За мной! – она покачнулась, рывкнула стулом – ее едва успели подхватить. – Отпустите меня! Молчите, просто молчите. Симулируйте нерешение.

– Ой, какой кошмар!

– Ей вообще пить нельзя! Категорически!

– А нам выпивку и бутербродики дадут забрать?

– Да вы вон как Сюряткина, втихаря, в сумку, в сумку.

Оставил их, поразившись, что так долго просидел здесь. Шел по набережной. Печально просигналив, отстранился от города лайнер, разворачивался в открытое море на дребезжащих световых столбах иллюминаторов. Слава думал про свою жизнь и пьяно вопрошал: почему земное не удовлетворяет, почему здесь все наполовину, здесь все – там. Задумался, а уже стемнело – и внезапно вспышка прибоя на темно-серой гальке. «Этот мир неисчезаем»! – вдруг понял Слава.

Пусто в темной квартире. Комки пыли на полу. Липкая посуда, липкая вода, потеки на унитазе. Заколоченные фанерой окна лоджии, будто его заколотили в товарняке с надписью «В тупик». Открыл материн шкаф – на плечиках ждет Витькино кашемировое пальто, под ним стоят высокие бархатисто-замшевые ботинки с перфорацией, которым он так завидовал.

* * *

Магда умерла через год. Ее похоронили на Переделкинском кладбище. Была, кажется, у нее своя тайна. Ей нравились женщины. А в одну из помощниц своих была влюблена и всегда ей радовалась. Это замечали. Но в силу каких-то

внутренних установок она не открывалась никому, даже самой себе не могла бы признаться в этих странных чувствах. А жизнь прошла, и многим вокруг нее было плохо, тем она многим и запомнилась.

Сын Саша, которого она так издевательски настраивала против отца и переписала зачем-то на свою фамилию, ничем не интересовался. В свои тридцать пять он продал большую квартиру родителей, комнаты в коммуналке сдал и улетел на какие-то острова.

Василий Петрович, мэтр, умер. Жить в Москве Славе теперь было негде, и делать было нечего. Прибирался на даче перед заселением нового писателя. За ржавым тазиком в ванной нашел недопитую бутылку с выдохшимся коньяком, которую когда-то тщетно искала Магда. Забрал этот мерзавчик в Ялту с собой.

Он лежал в темной комнате. Вдруг за столом, тускло освещенным сорокаватткой, появился Виктор. Он молчал. И Слава не знал, что сказать. Виктор поднялся, скорбный, в своем кашемировом пальто и с черной сумкой через плечо. Слава поднялся следом. Виктор подошел – возникла та самая, так хорошо знакомая Славе заминка – и стал как бы немного приседать, будто на колени встать хотел.

«Ты же умер. Тебе это не нужно, наверное, как и всегда было не нужно», – растерянно размышлял Слава.

И у Виктора было потерянное лицо, он как бы оттуда вспоминал, что когда-то делал в этой жизни, и как теперь быть,

что-то не складывалось. Замер в нерешительности на этой мучительной грани и начал копать в своей сумке. – Что ты ищешь?

«Баллончик», – слышалось Славе, и он со смущением и досадой предположил, что может искать покойный. – Какой баллончик, Витя?

– Талончик, талончик на проезд, – сутулясь и пряча лицо, повторил Виктор и пошел на выход.

Слава за ним. Они вышли в тот самый двор на Чайной горке. Снег, тепло, сырые доски покосившейся угольной будки. Слава понимал, что должен спросить что-то важное у Виктора, задать ему самый главный вопрос. Мучительно думал, но ничего не шло на ум, и язык лежал отупело и тяжело.

«Как мне-то быть? Что делать? – Слава повернулся к Виктору, но его нигде не было. – Где же он?»

Далеко внизу, на море, печально и протяжно просигналил лайнер.

Слава проснулся. Лежа на диване, на котором умерла мать, а потом Витька, он понял, что стал чувствовать вес тела. Душа чувствовала, точно оно становилось более просторным и чужим. Скоро Новый год, год Обезьяны. Может, последней уже Обезьяны.

– Я любил тебя, – прошептал Слава. – Что тут поделаешь?

Рассвело. Бывает утро, что море кажется северным океаном, именно таким, как его делают на картинках по металлу про край земли, про чукчей. Оно далеко внизу, гораздо даль-

ше, чем в обычные дни. И корабли на нем кажутся намертво вмерзшими. Поверхность ровная, шероховатая, и только извилисто уходит посередине лакированный путь. Он долго-долго помнится морем.

Наталья Ахпашева



Наталья Ахпашева родилась в 1960 году в селе Аскиз Республики Хакасии. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института и Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Автор шести книг поэзии и многочисленных поэтиче-

ских публикаций в литературной периодике, в том числе зарубежной. Выпустила пять книг переводов хакасской поэзии. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Дипломант международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна» (Уфа, 2011 г.). Лауреат поэтической премии журнала «Сибирские огни» (Новосибирск, 2016 г.). Лауреат литературной премии главы Республики Хакасии им. Моисея Баинова (Абакан, 2017 г.). Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. Живет в Абакане.

В этом городе двери железные...

Опять на главной площади кричали.
Мы выползли из полутемных нор.
Кто там такой? В пыли его сандалии.
Пророк? Обманщик? Сумасшедший? Вор?
По-птичьи он размахивал руками
и щурил близорукие глаза.
Гудело над последними рядами
встревоженное:
— Что же он сказал?
— Любви и света... Счастья и покоя... —
Убрал со лба назойливую прядь.
Тяжелый воздух городского зноя
устал над тесной площадью дрожать.
Он, может быть, обманщиком и не был.

В лицо дышала хмурая толпа.
И кто-то крикнул раздраженно:
– Хлеба! —
И первым кинул камень. И попал.
Испуганно взлетели птицы с крыши.
Мы захлебнулись яростью своей.
Приподнимали женщины повыше
горластых любопытных сыновей.
Толпа урчала жадно и доволью.
Мы отступились – он еще дышал.
– Любовь... Несчастливы. Невинновны. Больно. —
Закашлялся.
– Бессмертие... Душа...

Незнакомка

Пьяница тихий, поэт начинающий,
утром еле разлепит ресницы. Глаза – в потолок.
Тускло забрезжит вчерашняя память, как будто
и не своя. Гулко тикает правый висок.
Может быть, просто привиделась девушка в белом.
Челка, улыбка... А может быть, и в голубом.
Может, остаться сама она не захотела.
Но вероятней, что сам ее выгнал потом.
Вредно закусывать на ночь одними стихами.
Чудом не умер. Уж лучше бы умер. Вздохнет.
Встанет. Прошлепает в кухню босыми ногами,

к крану холодному жаждущим ртом припадет.
Строем – пустые бутылки, как взвод на параде,
по одному рассчитались. И край стакана
так ядовито испачкан в пунцовой помаде...
Может, соседская вновь приходила жена?
Или, наверно, другая какая-то дура.
Или не дура. А может быть, и не вчера.
Кто-то такой королевский оставил окурок.
В душ бы сейчас! Да и чай заварить дочерна.
Острое чувство вины примет с кротким смиреньем.
Створки окна в неизбежный распахнуты день.
Дразнит сознание – чье? – робкое прикосновенье.
И ускользает – чья? – полупрозрачная тень.
Он добровольно до вечера мучиться будет,
женское имя старательно припоминать
и отзываться на зов телефона не будет,
чтоб о любви гениальную ложь написать.

«В этом городе двери железные...»

В этом городе двери железные
и на окнах решетки стальные.
Жители здесь хмурые и трезвые
даже в праздники и выходные.

Здесь никогда влюбленные
по тенистым аллеям не гуляют.

Переулки неосвещенные
в темноте беззвучной пропадают.

Вечерами здесь ложатся рано,
предварительно засовы проверив.
Луна сияет странно,
как зрачок хищного зверя.

Воет ветер. Или не ветер.
На перинах обыватели тонут.
Здесь на крик о помощи двери
ни за что никому не откроют.

И в окно не посмотрят даже.
Зажимая ребенку рот,
мать сердитым шепотом скажет:
— Будешь плакать —
злой бабайка унесет!

«На нижней шконке спят...»

На нижней шконке спят,
укрывшись с головой.
Измучился мой взгляд
бессонницей лихой.
Ламп воспаленный свет
стекает с потолка.

В кармане больше нет
ни крошки табака.
Мешает думать мне
внимательный глазок.
Я отвернусь к стене
и до утра – молчок.
Так давит на виски...
До двери и назад
чеканные шаги
подковками стучат.
Товарищ капитан
принципиально злой.
Гремит двери капкан —
наверное, за мной...

«Сквозь ветви нежно влажный воздух мреет...»

Сквозь ветви нежно влажный воздух мреет.
Под солнцем снег, слепящ и ноздреват,
пластами оседая, тяжелеет.
На радостях не в лад и невпопад
орут вороны. Пластиковый мусор,
оставшийся от летних пикников,
со дна зимы на свет выносят юзом
живые перламутры ручейков.

Пакеты, пробки, банки из-под пива,
посуды одноразовой тщета.

Невдалеке трепещет сиротливо
презерватив, свисающий с куста.

А дышится!.. И сладко веет с южной
счастливой стороны. Не в лад орут
вороны в вышине и гадят дружно.

Припрятанный в глухом овражке труп,
все резче проступая из сугроба
синюшным запрокинутым лицом,
круги глазниц таращит и беззлобно
смеется неподвижным черным ртом.

В некой далекой стране

Переворот не удался – полковник убит.

В белом парадном мундире красивый такой
с пуль в груди на дворцовых ступенях лежит.

Всяко хотелось как лучше, но не повезло.

Рослые пальмы в кадучках колышут листвою.

Грустно сверкая, хрустит на паркетах стекло.

Бедный полковник! Ему не вести за собой
массы народные к счастью. Знамена борьбы

сникли, и днесь торжествует тотальное зло,

правды-свободы гнобит. И герою не быть

провозглашенным – пусть рупора треснет дупло! —
всепочитаемым гуру и богом живым.

Стих за разбитыми окнами отзвук пальбы.
Старый диктатор не сразу с испугом своим
сладил, покамест избегнув фатальность судьбы.
Кольт под подушку, и не доверяй никому!
Некогда сам он полковником был молодым.
Только удачливым был, и не ровня ему
пес этот мертвый, дерзнувший соперничать с ним.
Ну-ка, в стакан подлечиться плеснем коньяка!
А бунтарей в кандалы, на галеры, в тюрьму!
Самых отпетых на виселицу! И стакан,
выпив, шарахнул под ноги. Мол, быть по сему.
Вход во дворец охраняют гранитные львы.
Их стилизованных морд агрессивен оскал.
Выгнуты витиевато хвостов булавы.
Мимо подножий промаршировала в века
принцев наследных и пришлых сагибов чреда.
Нынешний-то измелечал соискатель, увы.
Ох и нагрянет в родные пампасы беда!
Многим горячим парням не сносить головы.
Бог наш живой – да сияет в предвечности! – лют:
не расстреляет – в застенках сгноит без суда.
Впрочем, и суд что изменит при случае тут?
Ждет напряженная карабинеров страда.
Тех же, кто в дальней провинции скрыться решит,
местные сами мотыгами насмерть забьют,
чтоб не смущали. Уже благодушен и сыт,
вечером выйдет порадоваться на салют
в белом парадном мундире красивый такой...

Петр

Тупым концом копья
подталкивая в спину,
Учителя, ликуя, увели.
Вслед улочка-змея
оград струила глину
и задыхалась в медленной пыли.
А осторожный Петр
за стражниками крался.
Сжималась птахой в каменной горсти
душа, когда народ
навстречу им смеялся:
– Царь Иудейский! Сам себя спаси!
Петр подойти не смел,
бесслезно изнывая,
к тому, кто будет после вознесен.
И яростно хрипел,
прохожих раздвигая,
измученный жарой центурион,
язычник и оплот
дряхлеющего Рима.
Безумствовала, весело скривив
разноплеменный рот,
чернь Иерусалима.
Петр прятался в сухой тени олив
и вздрагивал, когда

Учитель спотыкался.
Душистый шелест умершего дня
вдоль городских оград
в густой листве метался.
— Ты трижды отречешься от меня!
Но Петр еще не знал,
что скажет: «Я не знаю...»
В плащ плотно заворачивался свой,
болезненно дрожал
и горбился по краю
истертой и горячей мостовой.
Шум площадной затих.
Безмолвно и бездонно
раскрыли пасть ворота за углом.
Что ж ангелов слепых
двенадцать легионов
бездействуют в пространстве золотом?
Зови ж его, зови!
Тяни бесстыдно руки,
лови залитый кровью милый взгляд.
Есть мера для любви —
отчаянье разлуки, твой,
виноградарь, спелый виноград.

Канта Ибрагимов



Канта Ибрагимов – писатель, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Автор романов «Прошедшие войны», «Седой Кавказ», «Учитель истории», «Сказка Востока», «Дом проблем», «Академик Петр Заха-

ров». Живет в Грозном.

Детский мир

Фрагмент романа

Второй день, как и первый, начался с рева и зова родителей. Однако вскоре это прошло, желудочек потребовал свое. Он поел все, что можно было поесть, даже хлеб после мышей. Набравшись сил, он стал впервые действовать – бил во входную дверь, надеясь, что кто-то услышит. Устав, он направился в другую сторону – к окну. Да, здесь табу – отец с самого детства его учил, что к окну подходить нельзя – выпадет, а еще спички трогать нельзя, а то мог бы он, как ему кажется, и печь затопить. После обеда, ближе к вечеру, он нашел в шкафу много конфет, печенья, даже варенье. От этого его настроение значительно улучшилось, и его даже потянуло играть в машину. Но это было недолго. К сумеркам он вновь заревел, вновь стучал в дверь, и вновь жара была невыносимая, и он, помня, что к окну подходить нельзя, все же вспомнил, как отец легко резал ножом клеенку.

Свежий воздух ворвался как благодать, и он, позабыв обо всем, бросился к окну, а оттуда – шум жизни, шум города.

– Папа, мама! – даже сильнее прежнего кричал он на улицу, но жилье ныне находилось на отшибе, люди крайне редко сюда заглядывают, а проезд транспорта и вовсе перекрыт.

Ночь отогнала его от окна, и тут он нарушил еще один за-

прет – зажег свечу. Но кричать не смел, залез под одеяло, и только личико наружу, пока свеча на печи полностью не догорела, вглядывался в нее, думая, что из огня родители появятся, а как огонь погас, он не как прежде, а тихо-тихо заскулил, поглубже укрылся и только изредка звал: «Папа! Мама! Вы ведь обещали вернуться! Почему не забрали меня?»

Вторая ночь оказалась плачевнее во всех отношениях – он не только вспотел, но и испачкал постель. Это его очень расстроило, ведь его всегда хвалили за аккуратность. Он хотел было навести порядок, даже постирать, в итоге испачкал и ванную, да еще истратил ведро воды. А к этому еще одна напасть: он стал часто бегать в туалет. Вновь ел сладости, и его даже вырвало.

К обеду ему стало совсем плохо, заболел животик, и, несмотря на жару, было очень холодно, ломило мышцы. Со всем тихо, жалостливо скуля, он лег на диван и, корчась на нем, все звал мать и отца. И теперь просил только одного – воды!

Проснулся он ночью от нестерпимой жажды. Кругом – гробовая тишина и темнота, и лишь в туалете, где вода, что-то изредка копошится, наверняка крыса, и он все не решался туда пойти. А жажда тянет, голова и живот болят, и он уже было встал, как вдруг с улицы послышались шум, крик, выстрел, а потом очередь, взрыв – и еще взрыв, совсем рядом, так, что вся комната озарилась. И как начался ни с того ни с сего этот шум, так же и оборвался – и снова тишина,

и даже твари разбежались, а он долго ждал, вслушивался и, когда понял, что шорохов вроде нет, осторожно, на ощупь, двинулся в ванную. Долго искал кружку, а потом жадно, причмокивая, пил эту и без того несвежую, уже пропахшую чем угодно сунженскую воду.

На следующее утро он проснулся поздно, весь в жиге, а вокруг роится новая живность — жужжат мухи, стены все в комарах. Сам он весь в волдырях и, быть может, не встал бы, даже открывать глаза тяжело, да рот буквально пересох. Смертельная жажда потянула его в ванную, а там, у самого ведра, та огромная крыса с ужасно длинным хвостом, на задних лапах стоит, уже морду в ведро просунула; увидев Мальчика, соскользнула, не с испугом, а с ленцой отползла, вроде скрылась из виду.

Ступил было Мальчик за порог ванны, уже хотел кружку, упавшую на пол, поднять, как в последний момент, согнувшись, увидел в упор маленькие, наглые хищные глаза. Ему показалось, что тварь уже готова на него броситься, он с криком отчаяния качнулся назад, отпрянул, о порожек споткнулся, полетел в коридор и без того большую головку ударил об стенку. И, может, в другое время так бы и полежал, плача и стона, но на сей раз страх перед мерзостью оказался сильнее. Вглядываясь в ванную, он попытался сесть, а, к его ужасу, крыса даже не шелохнулась, а наоборот, чуть двинулась вперед, алчно принюхиваясь, и уже на порожек положила лапку, и Мальчик еще потрясенно попятился, до того

эта лапка была похожа на человеческую в миниатюре, точь-в-точь такая же, как на эскизах к сказкам в Доме пионеров.

А крыса, нагло водя усиками, сделала еще шаг навстречу, и тут он не выдержал, из последних сил истошно заорал. Крыса исчезла, он бросился в комнату, даже залез на стол. Но это долго продолжаться не могло, его мучила жажда. Видимо, то же самое творилось и с крысой, потому что в ванной вновь начались знакомые шорохи.

И тут Мальчик ожил, что-то в нем всколыхнулось, он хотел пить, он хотел жить, он не хотел уступать последние глотки воды никому. Конечно же, он еще не знал, но только так в жизни и бывает, это и есть война за ареал существования у живых существ.

Сойдя со стола, он стал искать оружие атаки и обороны, хотя средств вроде бы было много, он взял швабру – надо все же держать в битве дистанцию...

Он выбрал позицию и приготовился, глядя во все глаза, и ждал бы долго, да долго стоять не пришлось. Не обращая внимания на Мальчика, крыса шмыгнула, ловко вскочила на ванну, противно царапая отполированную глазурь, быстро пробежалась по узкой боковине и, уже не осторожничая, сразу же встала на задние лапки, и еще бы миг – прыгнула бы в ведро, как Мальчик пошел в атаку. Ведро с подставки шумя опрокинулось в ванну, крыса исчезла, вода утекла, а на дне – немалодохлых мух, упавших в то же ведро.

Мальчик был потрясен, он уже не думал о родителях, ни

о чем не думал, он хотел только пить.

– Дайте воды! Я хочу пить! Выпустите меня отсюда! – срываясь на писк, он завизжал, стал бить ладошками в дверь, обессилев, бросился к окну и, махая рукой, практически полностью вылез наружу, готовясь сделать шаг к недалекой реке, шума которой из-за городской жизни даже не слышно, как услышал за спиной стук, еще сильнее стук, окрик на чеченском.

Стрелой он бросился к двери.

– Мальчик, ты здесь? Как ты туда попал? Не шуми! – полупшепотом говорили из-за двери.

– Спаси меня, помоги! Я хочу пить! Пить!

– Хорошо, больше не шуми. Потерпи маленько. Как стемнеет, я вернусь.

– Нет! Нет! Спаси меня! Не уходи! Ради бога, спаси!

– Хорошо, хорошо, – за дверью голос не менее напряжен. – Только отойди от входа. Подальше отойди.

Об дверь что-то ударилось, еще раз, аж пыль и штукатурка посыпались, но это ничего не изменило. Тогда в ход пошло что-то иное, видимо, ноги – дверь не поддалась.

– Мальчик, слышишь, Мальчик, буду стрелять, в сторонку уйди, спрячься, – теперь за дверью кричат в полный голос.

Мальчик заковылял в маленькую комнату, где они не жили, и только сел на корточки, зажав, как учили, уши, начались выстрелы; хлесткие, одиночные, оглушительные. Потом снова удар – и, словно крыша, обвалилась пыльная волна.

– Где ты?

Его коснулись грубые, но теплые руки.

– На, пей.

Только тогда Мальчик раскрыл глаза, обеими руками вцепился во фляжку и сунул горлышко сквозь вспухшие, потрескавшиеся, посиневшие губы – так, что зубки заскрежечали.

– Не торопись, не торопись, – сдерживал и одновременно успокаивал его молодой обросший мужчина.

Взахлеб, чуть ли не подавившись, Мальчик почти сходу высосал половину содержимого. Упершись взглядом лишь во фляжку, недолго передохнул и вновь жадно к ней прилип, и только чуточку не допив, утолив жажду, он выронил ее из рук и сам, как подкошенный, упал.

– Ой, ой, ой! – все это время сокрушался бородач. – И кто ж тебя так, дорогой? Кто? Ясно кто – война! А ну, давай, – взял он ребенка на руки, перенес в обжитую комнату, ища место почище; кроме стола, ничего не нашел, и будто это стол операционный: он бережно положил его и стал скидывать грязную одежонку, все время озираясь на дверь, наготове держа автомат.

Потом военный нашел в шкафу чистую простыню, укутал в нее Мальчика, а тот уже в забытие, стонет, что-то бормочет.

– Дела¹, что я с ним буду делать? – заметался по комнате мужчина, выглянул в окно, потом сбегал в подъезд. – Ведь он весь горит! В жару! Его спасти надо!

Взяв бережно Мальчика на руки и держась стеночки, пошел вверх по лестнице.

– Воды! Воды! – стонал Мальчик, его головка в беспмятстве перекатывалась по широченному плечу боевика. – Дела, что я делаю? – тут, наверное, впервые бородач внимательно в упор глянул на Мальчика: – Какое создание, просто золотой, – и, продолжая словно сам с собой разговор, уже строго: – Что я делаю? Ведь он будущее, а я что, не сегодня-завтра труп, в этом доме уже сутки, как в западне. Ну уложу я еще двоих-троих, ну и что? Им счету нет. А вместе со мной и ребенка могут грохнуть.

Он подошел к разбитому оконному проему, слегка выглянул, потом еще раз, и тогда чуть отпрянул.

– Эй вы, идиоты! Слышите меня, недоноски?! У меня еще огромен боезапас, но здесь ребенок, больной! Я сдаюсь! Слышите? – он выстрелил в воздух, отчего Мальчик открыл глаза. – До ночи бы я продержался, а там бы – вот вам! Но я сдаюсь, выхожу, со мной ребенок, он очень болен.

Тяжело и часто дыша, читая молитву, бородач медленно стал спускаться. А Мальчик неожиданно ощутил какую-то знакомую перемену во всем, и ему почему-то захотелось посмотреть в глаза бородача. Подняв головку, сфокусировал на бородатом взгляд: на лице густая, черная с сединой щетина, кожа сморщена, выжжена, даже в поры глазниц въелись пыль, пороховая гарь, и лишь глаза горят, широко раскрытые, уже отстранены от мира сего, смотрят вроде в никуда,

точь-в-точь как в последний раз у матери, и почему-то понимая, что он с этим дядей тоже скоро навсегда расстанется, он прильнул к нему, уложил шейку на крепкое плечо и тут ощутил запах его тела, запах смерти и войны. И, неведомо почему, он потрогал его щетину, чтоб тот услышал, и тихо, на ухо, прошептал: «Скажи папе и маме – я их здесь жду!» Бородач ничего не ответил, правда, словно понимая, кивнул; у самого выхода глубоко, надсадно вздохнул, вяло ступил на улицу.

– Не стреляйте, пока не стреляйте, – он поставил осторожно Мальчика у стены, сам быстро отошел.

– Брось оружие! Ложись! На землю, тварь! – раздалось со всех сторон.

Он бросил автомат, захохотал дрожа и вдруг рванул в другую сторону; многочисленные очереди на лету швырнули его к стене, пригвоздили, сотрясали тело... но этого Мальчик уже не видел и даже не слышал, у него подкосились ноги.

Урывками, словно сквозь пелену тумана, помнил Мальчик, как его несли на руках, везли на очень жесткой грязной, а потом мягкой тихой машинах. И где-то он спал в тишине. А проснулся от гула, и все трясло, летало, бросало, и его стало тошнить, стало совсем плохо.

– Проснись, проснись, золотой! – какой-то нежный, грудной голос на русском; глядят его по головке. – Ну, пора, пора, просыпайся.

Новый мир, тишина. А перед ним – очень доброе, краси-

вое, румяное лицо; ласковые васильково сияющие искренние глаза; и, как и белоснежная кожа на шее, вся она в белом, и все вокруг в белом, лишь ароматные полевые цветы в вазах пестрят, еще более украшают вид, наполняя маленькую комнату уютом, теплом и любовью.

Любовь! Так и звали эту красивую молодую женщину, и, видимо, все ее любили, все офицеры дарили ей цветы, но, как заметил Мальчик, только у одного, у какого-то молоденького, тоже еще румяньего, она брала цветы с удовольствием и потом, оставшись одна, тайком с наслаждением нюхала.

– Люба, ну Любовь Николаевна, давайте пойдем в кино, – приглашали ее женщины каждый вечер, а мужчины звали в бар, но она, ласково улыбаясь, всем отказывала: теперь по вечерам у нее появилось другое, очень приятное занятие; она купила Мальчику велосипед, и во все свободное время шло освоение техники: во всем гарнизонном госпитале один ребенок, и все внимание на них.

– А что, похож, даже очень похож, – подтрунивали над ней женщины.

– А может, где нагуляла? – полушутя говорили офицеры.

А Любовь Николаевна счастлива, радость свою скрыть не может, часто поглаживает золотистые кудряшки Мальчика, шепчет ему или сама себе:

– Вот не ждала не гадала, а сын появился, усыновлю. Неужели?! – и она со страхом прикрывала рот, оглядывалась

и потом частенько поглядывала на часы, к ночи ее настроение портилось, они шли домой.

Дом – это небольшой кабинет старшей сестры-хозяйки, где теперь вместе с Мальчиком днюет и ночует Любовь Николаевна. Перед сном они пьют чай со сладостями, обязательны фрукты, в это время каждый вечер смотрят «Спокойной ночи, малыши». Потом она его купает, укладывает спать в кровать и что-нибудь детское читает, со все тускнеющим голосом, часто смотрит на часы и говорит: «Теперь спи, спи, дорогой! Спокойной ночи!»». И почти каждую ночь в коридоре слышатся твердые шаги, и, не стучась, дверь дергают, она открывает, Мальчик уже отворачивается и действительно пытается заснуть, а комната наполняется непонятными, не очень хорошими мужскими запахами, и хоть говорить он пытается тихо, а голос командный, грубый, властный.

– Ну подождите, он еще не заснул, – каждый раз слышится умоляющий голос Любови Николаевны. Они еще пару раз что-то разливают, шелестит фольга. – Не курите, пожалуйста, не курите, ребенок!

– Тогда давай побыстрей.

После этой команды раздвигается диван, тушится свет, вот тогда Мальчик и засыпает.

Иногда он просыпается среди ночи от шума воды, это Любовь Николаевна долго принимает душ. Потом ложится на свой диван и беспокойно ворочается, сопит, и если начала, как обычно, плакать, то вскоре переберется в кроватку к

Мальчику, чего тот так хочет, и, думая, что он спит, сквозь всхлипы горячо целует, обнимает, что-то, будто заклиная, повторяет.

Наутро диван всегда прибран, все блестит, будто и не было ночи, и она будит его, всячески лаская, зовя к завтраку, предрекая праздничный день. Думалось, что так будет всегда, и становилось даже лучше, по ночам никто не приходил, на часы Любовь Николаевна не смотрела, и казалось, еще более расцвела, стала еще счастливее и красивей. Да это вдруг вмиг оборвалось.

Как-то поутру прибежала Любовь Николаевна вся в слезах, бросилась ничком на кровать, рыдает. Следом женщины:

– Успокойся, Люба. Кобель – он и есть кобель.

А еще погода появился пожилой офицер в усах, за ним молодая, высокая, стройная особа, одетая как в кино.

– Гм, гм! – кашлянул офицер в кулак, еще долго выправлял усы. – Любовь Николаевна, извините, тут дело такое. Приказ есть приказ. Вот новая старшая сестра-хозяйка.

– Это не новая сестра-хозяйка, – вдруг вскочила Любовь Николаевна. – Это новая шлюха, как я.

Молодая особа грубо огрызнулась, женщины чуть не сцепились, их разняли. Все ушли. Появился другой офицер, более молодой, но, как понял Мальчик, тоже из командиров.

– Я десять лет служу, я десять лет мотаюсь по гарнизонам всей страны и мира, – уже более сдержанно говорила Любовь

Николаевна, – и неужели я так и не заслужила даже однокомнатной квартиры хоть где-нибудь, хоть на Камчатке!

Офицер тоже что-то говорил, в конце развел руками и ушел. Еще один день Любовь Николаевна не сдавала позиции, а потом пришел он. Мальчик никогда его не видел, да сразу узнал по шагам в коридоре. Учужала его издалека и Любовь Николаевна, напряглась, насупилась.

– Люба, Любушка, – вкрадчиво начал военный. Это был грузный, крепкий, уже в возрасте человек, с очень густыми бровями на смуглом лице.

– Не надо при ребенке, – отстранилась она от его ласк. – Давайте выйдем в коридор.

Вначале слышалось только «бу-бу» мужское и тихое женское, а потом голоса стали выше, и уже все слышно.

– Ну что ты ко мне пристала, что ты ревнуешь, что ты мне, жена, что ли?

– В том-то и дело, что не жена. Но вы со слезами на глазах обещали обо мне всю жизнь заботиться. «Дозаботились» – десять лет за собой шлюхой возите. А теперь постарела, другие есть; чтоб избавиться – в Чечню, на фронт. И я рада, я рада вас всех не видеть, но вы мне сколько лет уже квартиру обещаете?

– Это не в моих силах!

– Как не в ваших? – перебила она. – А у вас, как я знаю, на каждого ребенка по квартире, и еще две в Москве, в запасе.

– Ну-ну, ты в мои семейные дела не лезь.

– А мне уже тридцать, у меня мать.

– Что-то ты прежде о матери не говорила. Короче, ты еще военная, мы в прифронтовой зоне, на военном положении. Или ты выполняешь приказ, или...

– Александр Вячеславович, Саша, я замуж хочу.

– Ну и пожалуйста, только как медовый месяц – горячую точку – Чечню, потом женись и квартиру получишь.

– Саша!

– Уйди, отстань. Тоже мне, от какого-то летехи цветочки берет, а может, и рога мне наставила.

– Постарела я, постарела, надоела! Сознайся!

– Замолчите! Приказываю!

– Александр Вячеславович, памятью отца. Пожалуйста!

– Не трожь! Отставить! Ты три квартиры прокутила, все курорты объездила.

– У меня ведь ребенок, пощадите!

– Что? Этот!.. А при чем тут ты?.. Два часа на сборы, борт будет в десять нуль-нуль. А с ребенком государство разберется.

Буквально за один день эта женщина резко изменилась, особенно глаза, ставшие из васильковых, задорных – озабоченными, выцветшими.

– Вы моих папу и маму увидите, скажите, что я их жду, – вдруг выдал Мальчик, вглядываясь в ее лицо.

– Откуда ты знаешь, что я в Чечню?

Он молчал. Она обняла его, стала целовать, но и губы у

нее тоже стали жесткими.

– Скажи хоть, как тебя зовут, как твоя фамилия и где тебя я буду искать?

– Я вас сам найду.

– Ты-ы?

Она отстранилась, еще громаднее стали ее глаза, взгляд далеко уполз.

– Любовь Николаевна, обходной, – в дверях появилась медсестра.

– Да да, я сейчас, – она встала, двинулась к двери, обернулась. – Я вернусь, прощаюсь.

Больше он ее не увидел. Через пару минут пришел какой-то офицер, не дал забрать даже велосипед, взял его за ручку и повел через весь плац в другой корпус, там он попал «под заботу государства».

Эту ночь его никто не кормил, спал он на нарах под шинелью. А на следующее утро тот же офицер его куда-то отвез, и там были люди в форме, как у его отца, – милиционеры, они тоже его весь день не кормили, а все допытывали, как зовут, чей, откуда и прочее. Потом много раз фотографировали, даже пальчики черным мазали. А он все плакал, горестно сопел, просил пить, к вечеру его накормили, посадили в поезд с толстой тетенькой, которая раньше него храпеть стала. И через день он попал к детям, таким худым, исподлобья странно глядящим. Это был детский дом, но почему-то сами дети называли это место колонией.

Мальчика сразу же обрили налысо, переодели в грубую, мрачноватую одежонку, и стал он как все дети – худым, головастым, напряженным, и лишь глаза, эти голубые вдумчивые глаза, стали казаться еще больше, еще печальней, еще загадочней.

Здесь тоже первый день начался с анкеты, и, думая, что Мальчик не понимает языка, а может, и вовсе скрытничает, на девичьей стороне нашли переводчицу, долговязую, рыжеватую девчонку лет десяти, которую по-местному называли Зоя. Именно благодаря Зое появилось имя Мальчик, так и пошло, до выяснения данных... И кроватку ему выделили самую старую, перекошенную, в сыром углу. А на ужине старшие ребята хлеб отобрали, перед сном туалет заставили мыть.

Вот чего Мальчик не мог и не хотел, он хотел спать. В эту первую ночь его сильно били. Он плакал, орал, а его еще пуще били. Вдруг в полумраке коридора все разбежались, а перед ним – длинная, худющая воспитательница в очках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.